

БОЛЬШИЕ ФФ КНИГИ

Морис Ренар



ПОВЕЛИТЕЛЬ
СВЕТА

« А З Б У К А »



Фантастика и фэнтези. Большие книги

Морис Ренар

Повелитель света

«Азбука-Аттикус»

1908-1933

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Ренар М.

Повелитель света / М. Ренар — «Азбука-Аттикус»,
1908-1933 — (Фантастика и фэнтези. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24537-2

Морис Ренар (1875–1939) – французский писатель-фантаст и мастер детективного романа. Следуя вольтеровскому принципу «все жанры хороши, кроме скучного», Ренар не делил литературу на «высокую» и «низкую»: его произведения нарушают привычную логику развития сюжета и сочетают в себе развлекательность и интеллектуальность. Не случайно Ренар пользовался популярностью не только у читателей, но и у литературных критиков, а в ХХI веке был назван «гениальным предшественником современной научной фантастики» («Словарь детективной литературы» под редакцией Клода Меспледа, 2003). Его творчество оказало заметное влияние на последующее развитие жанровой литературы и во многом предвосхитило сюжеты знаменитых фантастических произведений Золотого века. В настоящее издание вошли романы «Доктор Лерн, полубог» (1908), «Синяя угроза» (1912), «Повелитель света» (1933), а также новеллы «Оперная певица», «Слава Комакьо», «Господин де Трупье, дворянин-физик» и «Шум в горах».

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24537-2

© Ренар М., 1908-1933

© Азбука-Аттикус, 1908-1933

Содержание

Доктор Лерн, полубог	7
Посвящение	7
Вместо предисловия	8
Глава 1	11
Глава 2	20
Глава 3	31
Глава 4	39
Глава 5	46
Глава 6	53
Глава 7	62
Глава 8	70
Глава 9	78
Глава 10	86
Глава 11	95
Глава 12	102
Глава 13	109
Глава 14	114
Глава 15	121
Глава 16	129
Синяя угроза	133
Пролог	133
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Морис Ренар

Повелитель света

Maurice Renard
LE MAÎTRE DE LA LUMIÈRE

© Л. С. Самуйлов, перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Доктор Лерн, полубог

Посвящение

Господину Г. Дж. Уэллсу.

Прошу Вас, сэр, принять эту книгу.

Удовольствие посвятить ее Вам является далеко не последним в ряду тех, которые я испытал, сочиняя ее.

Я задумал ее, вдохновляясь идеями, которые дороги и Вам, и я от всей души желал бы, чтобы она была ближе к Вашим произведениям по духу, не по своему значению и достоинствам, на что с моей стороны было бы смешно претендовать, но хотя бы по качеству, которым характеризуются все Ваши книги и которое дает возможность самым чистым и пытливым умам насладиться Вашим гением, – а приобщиться к нему были бы рады самые способные люди нашего времени.

Но когда Судьба, к добру или худу, случайно натолкнула меня в аллегорической форме на этот сюжет, я не считал себя вправе отказаться от него лишь из-за того, что точное изложение его требовало известной смелости выражений, которые можно было бы обойти, только сократив повествование, что я считал бы преступлением против моего литературного дерзновения.

Теперь Вы знаете – впрочем, Вы и сами об этом бы догадались, – какого бы я желал отношения к моему произведению, если кто-нибудь окажет ему непредвиденную честь поразмыслить над ним. Я далек от желания пробудить в читателе примитивные инстинкты и радость при чтении описаний легкомысленных картин: я предназначаю свою книгу философу, ищущему Истину среди вымышленных чудес и Упорядоченность среди хаоса воображаемых приключений.

Вот почему, сэр, я прошу Вас принять эту книгу.

М. Р.

Вместо предисловия

Это случилось в один из зимних вечеров, более года тому назад, после прощального ужина, на который я пригласил друзей к себе, в небольшой особнячок на проспекте Виктора Гюго, арендуемый мною со всей обстановкой.

Так как на перемену квартиры меня толкал исключительно мой бродяжнический характер, то расставание с этим особнячком мы отпраздновали не менее весело, чем когда-то – новоселье у его очага, а когда спиртные напитки пробудили шаловливое настроение, каждый из нас старался придумать выходку почуднее; больше всего изошрялись, по обыкновению, весельчак Жильбер, специалист по парадоксам, Марлотт – этот Трибуле нашего кружка – и Кардайяк, изумительный мистификатор.

Уж и не помню, как так вышло, но через час кто-то потушил электричество в курительной комнате, заявив, что необходимо немедленно заняться спиритизмом, и усадил нас в темноте за небольшой геридон¹. Заметьте: этот кто-то был не Кардайяк, но, возможно, его сообщник, если, конечно, допустить, что во всем том, что произошло далее, виноват именно Кардайяк. Итак, мы уселись все ввосьмером, восемь недоверчивых мужчин, вокруг несчастного маленького столика, единственная ножка которого внизу опиралась на три планки, а круглая столешница сгибалась под тяжестью наших шестнадцати рук, соприкасавшихся друг с другом по всем правилам оккультизма.

Эти правила нам сообщил Марлотт. Когда-то он из любопытства изучал всякую чертовщину, в том числе и верчение столов, но не углублялся в бездну знаний; а так как именно Марлотт обычно исполнял в нашей компании роль шута, то, увидев, с каким авторитетным видом он взялся за ведение сеанса, все охотно подчинились его распоряжениям в ожидании какой-нибудь веселой выходки.

Моим соседом справа оказался Кардайяк. Я услышал, как он подавил смешок и закашлялся.

Между тем стол завертелся.

Потом Жильбер начал задавать вопросы, и стол, к вящему изумлению Марлотта, ответил сухими потрескиваниями, подобно тому как трещит всякое сохнувшее дерево; по мнению спиритов, эти звуки соответствуют какой-то экзотической азбуке.

Марлотт неуверенным голосом переводил нам ответы стола.

Все принялись задавать вопросы, на которые стол отвечал очень разумно. Присутствующие перестали шутить и сделались серьезными; никто не знал, что и думать. Вопросы участились, участилось и ответное потрескивание стола, раздававшееся, как мне показалось, совсем рядом со мной – чуть правее.

– Кто будет жить в этом доме через год? – спросил тот, кто затеял сеанс.

– Ну знаете ли, если вы станете расспрашивать его о будущем, – воскликнул Марлотт, – он начнет сочинять, а то и вовсе умолкнет.

– Да нет, пусть спрашивает! – вмешался Кардайяк.

Вопрос повторили:

– Кто будет жить в этом доме через год?

Раздался стук стола.

– Никто, – перевел Марлотт.

– А через два года?

– Николя Вермон.

Все слышали это имя впервые.

¹ Круглый столик на одной ножке (*фр.*).

– Что он будет делать в этот же час ровно через год? Что он делает прямо сейчас? Ответьте!

– Начинает... писать на мне... о своих приключениях.

– Вы можете прочесть, что он пишет?

– Да... и то, что напишет дальше, – тоже.

– Прочтите нам... Начало, хотя бы только начало.

– Устал. Алфавит... это слишком долго. Дайте пишущую машинку, буду диктовать дактилографу.

В темноте по комнате пробежал удивленный ропот. Я поднялся, принес свою пишущую машинку и поставил ее на геридон.

– Это «Уотсон», – простучал стол. – Не хочу такую. Я француз, хочу французскую. Дайте мне «Дюран».

– «Дюран»... – разочарованным тоном проговорил мой сосед слева. – А такая марка существует? Никогда о ней не слышал.

– И я тоже.

– И я.

– И я.

Мы были сильно расстроены этой неудачей, но тут голос Кардайяка медленно произнес:

– Что до меня, то я пользуюсь машинками исключительно марки «Дюран». Хотите, привезу?

– А вы сумеете печатать в темноте?

– Вернусь через четверть часа, – сказал он, не ответив на этот вопрос, и вышел.

– Раз уж во все это ввязался Кардайяк, – заметил кто-то из гостей, – будет весело.

Однако же свет зажженной люстры явил взорам присутствующих лица куда более серьезные, чем следовало бы. Даже Марлотт выглядел бледным.

Кардайяк вернулся через очень короткий промежуток времени – можно даже сказать, поразительно короткий, – расположился перед геридоном, за своей пишущей машинкой; свет опять потушили, и стол вдруг заявил:

– В остальных уже не нуждаюсь. Можете разомкнуть цепь. Пишите.

Застучали по клавишам пальцы.

– Невероятно! – вскричал переписчик-медиум. – Просто невероятно! Мои пальцы движутся сами по себе, помимо моей воли.

– Что за ерунда! Быть этого не может! – прошептал Марлотт.

– Клянусь вам, клянусь... – возразил Кардайяк.

* * *

Мы долго сидели и безмолвно слушали эти похожие на телеграфные постукивания, ежеминутно прерываемые звонком, предупреждающим о близости конца строчки, и треском передвижаемой каретки. Каждые пять минут мы получали новую страницу. Мы решили перейти в гостиную и читать вслух по мере того, как Жильбер, получая страницы от Кардайяка, станет передавать их нам.

Семьдесят девятую страницу мы читали уже при свете незаметно подкравшегося дня. На этой странице машинка остановилась.

Но то, что она напечатала, оказалось до такой степени увлекательным, что мы принялись умолять Кардайяка дать нам возможность познакомиться с продолжением.

Он уступил нашим просьбам, и в конце концов, после множества ночей, проведенных за клавиатурой стоявшей на геридоне пишущей машинки, мы получили законченное повествование о приключениях вышеназванного Вермона.

Читатель познакомится с ними ниже.

Эти приключения весьма своеобразны и местами не совсем приличны: *должно быть*, их будущий автор не предназначает их для печати. *Он их сожжет*, как только закончит; словом, если бы не любезность геридона, никто никогда бы так и не познакомился с их содержанием. Вот почему, ничуть не сомневаясь в их достоверности, я нахожу публикацию произведения, которое будет написано еще только через год, крайне пикантной.

Дело в том, что я убежден в правдивости автора, хотя его заметки и кажутся сильно шаржированными, набросанными карандашом на манер примечаний начинающего студента-медика на полях книги, имя которой Знание.

Возможно ли, что они апокрифичны? Вполне, но ведь давно известно, что легенды во много раз увлекательнее Истории, и даже если все это выдумка Кардайяка, книга от этого не делается хуже.

И все же я от всей души желаю, чтобы «Доктор Лерн» оказался правдивым описанием реальных превратностей судьбы реального человека, так как при этом стечении обстоятельств (ведь геридон описывал то, что случится через год) злоключения героя еще не начались и, судя по всему, произойдут в то самое время, когда о них поведаст книга, – а это придает интересу к ней некий странный привкус.

Да и потом, через два года я и сам уже буду знать, занимает ли небольшой особнячок на проспекте Виктора Гюго господин Николя Вермон. Некое тайное предчувствие убеждает меня в этом заранее: трудно ведь допустить, чтобы Кардайяк – человек серьезный и весьма неглупый – потратил столько часов только лишь на то, чтобы мистифицировать нас... Это мой главный аргумент в пользу его искренности.

Впрочем, если какой-нибудь недоверчивый читатель захочет меня проверить и рассеять свои сомнения, пусть отправится в Грей-л'Аббей и там лично осведомится о жизни доктора Лерна и его привычках. У меня сейчас не хватает свободного времени, но я просил бы этого исследователя затем сообщить мне все, что ему удастся выяснить, ибо мне и самому страшно хочется пролить на эту историю свет и узнать, является ли этот рассказ очередной мистификацией Кардайяка, или же он и в самом деле был продиктован вертящимся столом².

² Мы не изменили в тексте «Доктора Лерна», продиктованном столом Кардайяку, ни единой буквы – некрасиво было бы менять текст совершенно неизвестного автора, которого и печатаешь к тому же без его разрешения, – поэтому просим читателя не возлагать на нас ответственность ни за определенную напыщенность слога мсье Вермона, ни за некоторую чисто библейскую смелость описаний. Впрочем, мы надеемся, что читатель охотно простит ему все, когда узнает, сколь ужасные испытания доведется перенести этому молодому человеку к тому времени, как он сядет писать свои воспоминания. – *Примеч. переписчика.*

Глава 1

Ноктюрн

Заканчивалось первое воскресенье июня. Тень автомобиля неслась впереди меня, удлиняясь с каждой минутой.

С самого утра все встречные смотрели на меня с встревоженными лицами, как смотрят на сцену во время представления мелодрамы. Облаченный в автомобильный костюм из дубленой кожи, с кожаной фуражкой на голове, в больших выпуклых очках, напоминавших глазницы скелета, я, должно быть, казался им каким-нибудь дьявольским порождением, каким-нибудь демоном святого Антония, убегающим от солнца и мчащимся навстречу ночи, чтобы поскорее скрыться в ее мраке.

И в самом деле, я ощущал в сердце некую отверженность, потому что другого ощущения не может быть у одинокого путешественника, который провел семь часов, не вылезая из гоночного автомобиля. Его мозг находится во власти кошмара; вместо обычных мыслей его преследует какая-нибудь навязчивая идея. У меня не выходила из головы коротенькая фраза, почти приказание: «Приезжай один и предупреди о прибытии». Эта фраза упорно и настойчиво торчала в моем мозгу и волновала меня все время моего одинокого путешествия, и без того ставшего мучительным из-за быстроты езды и непрерывного гудения мотора.

А между тем это странное распоряжение: «Приезжай один и предупреди о прибытии», дважды подчеркнутое моим дядюшкой Лерном в своем письме, сначала не произвело на меня особенного впечатления. Но теперь, когда, подчинившись этому распоряжению, я мчался, совершенно один и заранее предупредив о прибытии, в замок Фонваль, непонятный приказ неотступно преследовал меня, не давая покоя. Мои глаза видели эти слова повсюду, я слышал их во всех раздававшихся вокруг меня шумах, несмотря на все усилия прогнать их. Нужно ли было прочесть название деревушки, мои глаза читали: «Приезжай один»; пение птиц звучало в моих ушах как «Предупреди». А мотор без устали, доводя меня до остервенения, повторял тысячи и тысячи раз: «О-дин, о-дин, о-дин, при-ез-жай, при-ез-жай, при-ез-жай, пре-ду-пре-ди, пре-ду-пре-ди...» Тогда я начинал мучить себя вопросами, почему дядя так распорядился, и, не будучи в состоянии найти причины, страстно стремился приехать поскорей, чтобы раскрыть эту тайну, не столько из желания получить, вероятно, банальный ответ, сколько для того, чтобы отделаться от преследовавшей меня навязчивой фразы.

К счастью, я приближался к цели, и местность становилась все более мне знакомой. Воспоминания детства овладевали моей душой и с успехом боролись в мозгу с мучившей меня мыслью.

Нантель, многолюдный и суетливый город, немного меня задержал, но сразу же по выезде из пригорода я наконец увидел вдали покрытые облаками вершины Арденн.

Вечерело. Желая добраться до своей цели до наступления ночи, я пустил автомобиль с предельною скоростью; он задрожал, захрипел, и дорога пролетала под ним с головокружительной быстротой, — мне казалось, что дорога наматывается на машину, как нитки на катушку. Ветер свистит и гудит, как буря, туча комаров попадает мне в лицо, по стеклам очков, как заряд дроби, барабанят мелкие камушки. Солнце у меня теперь справа, почти на самом горизонте. Дорога, то опускаясь, то подымаясь, принуждает его несколько раз заходить и взойти для меня. Наконец оно совсем скрылось. Я мчусь в сумерках с такой быстротой, на которую способна моя милая машина, — и, полагаю, вряд ли другая могла бы ее перегнать. При такой скорости горы не далее чем в полчаса езды. Смутные очертания их становятся более отчетливыми и принимают зеленоватый оттенок, цвет покрывающих их лесов, — мое сердце хочет выпрыгнуть от радости. Ведь пятнадцать лет, целых пятнадцать лет я не видел моего милого леса, старого, верного друга моего детства.

Замок находится здесь же, в тени деревьев, на дне громадной котловины. Я ее помню совершенно отчетливо и даже различаю, где она, – темнеющее пятно выделяет ее. Надо сознаться, что это довольно странный овраг. Моя покойная тетушка Лидивина Лерн, влюбленная в старинные легенды, уверяла, что этот овраг образовался от удара гигантским каблуком Сатаны, разозлившегося на какую-то неудачу. Но многие оспаривают это объяснение. Во всяком случае, легенда недурно характеризует место: представьте себе громадное круглое углубление с совершенно отвесными краями, с одним только выходом – широкой просекой, ведущей в поле. Другими словами – равнина, входящая в гору в виде земляного залива, образует в ней тупик; остроконечные края этого амфитеатра тем выше, чем дальше котловина углубляется в горный массив. Так что можно подъехать к самому замку по совершенно ровной дороге, ни разу не встретив ни малейшего подъема, хотя котловина и врежется вглубь горы. Парк находится в самой глубине котловины, а утесы служат ей стенами, к замку же ведет единственное ущелье. В этом месте выстроена стена, в которую вделаны ворота. За ней идет длинная, совершенно прямая липовая аллея. Через несколько минут я въеду на эту аллею... и немного времени спустя узнаю наконец почему никто не должен сопровождать меня в Фонваль. «Приезжай один и предупреди о прибытии». К чему эти предосторожности?

Терпение. Арденны, эта огромная цепь гор, вырисовываются отдельными глыбами. При той быстроте, с какой я мчусь, кажется, будто горы все время в движении: вершины то исчезают, то снова всплывают, вздымаясь, словно величественные волны, и зрелище беспрестанно меняется, напоминая громадное море.

За поворотом показывается село. Оно мне прекрасно знакомо. В былые времена каждый год в августе месяце меня с матушкой на станции в этом селе ожидала дядюшкина повозка, запряженная лошадкой Бириби. Оттуда нас везли в замок. Привет, привет, Грей-л'Аббей! До Фонваля всего три километра. Я нашел бы путь в замок с завязанными глазами. А вот и дорога, прямая как стрела; скоро она углубится в лес и перейдет в широкую аллею.

Уже почти ночь. Какой-то крестьянин что-то кричит мне, должно быть ругательства. К этому я уже привык. Сирена отвечает ему угрожающим и болезненным ревом.

Вот и лес. Ах, какой дивный воздух! Он напоен ароматом былых расставаний. Разве воспоминания могут пахнуть чем-то еще, кроме леса? Восхитительно! Как же хочется продолжить этот праздник обоняния!

Я замедляю ход, и автомобиль продвигается потихоньку. Шум двигателя превращается в шепот. Справа и слева, постепенно повышаясь, начинаются отвесные стены широкого оврага. Будь немного светлее, в глубине аллеи можно было бы увидеть замок. Ого! В чем дело?

Машина едва не перевернулась: вопреки ожиданию, дорога резко ушла в сторону.

Я еще больше сбавил скорость.

Чуть дальше – новый поворот, еще один.

Я остановился.

На темном небе, по каплям проливая свою светящуюся росу, мерцали сотни звезд. При свете весенней ночи мне удалось разглядеть над собой гребни утесов, расположение которых меня удивило. Я попытался вернуться и обнаружил позади разветвление дороги, на которое не обратил внимания. Поехав направо, уткнулся в новое разветвление – будто пытался разобратся в каком-то логогрифе, – оттуда направился к замку, ориентируясь по утесам, но снова попал на перекресток. Куда же девалась прямая аллея? Это неожиданное приключение поставило меня в тупик.

Я зажег фары и долго разглядывал при их свете окружающую меня местность, но не мог разобраться и найти дорогу: столько аллей выходило на эту площадку, да, кроме того, многие из них кончались тупиками. Мне показалось, что я возвращаюсь все к одной и той же березе и что высота стен не меняется. По-видимому, я попал в настоящий лабиринт и ни на шаг не продвигался вперед. Может быть, крестьянин, окликнувший меня в Грей, пытался меня

предупредить об этом? Весьма вероятно. Но все же, рассчитывая на везение и чувствуя укол самолюбия, я продолжал исследование. Трижды я выехал на тот же перекресток, к той же самой березе с трех разных аллей.

Я хотел позвать на помощь. К сожалению, клаксон почему-то не срабатывал, а рожка у меня с собой не было. Кричать же не имело смысла, потому что я находился слишком далеко как от Грей-л'Аббея с одной стороны, так и от Фонвальского замка – с другой.

Меня охватил страх: а что, если закончится бензин? Я остановился посреди перекрестка и проверил бак. Он был почти пуст. К чему тратить остаток без толку? В конце концов, пожалуй, легче будет добраться до замка пешком, пройдя через лес. Я двинул напрямик, но путь преградила скрытая кустарником решетка.

По-видимому, этот лабиринт был устроен у входа в парк не для забавы, но преследовал цель воспрепятствовать проникновению в некое убежище.

Крайне этим озадаченный, я принялся размышлять.

«Совершенно вас не понимаю, дядюшка Лерн, – думал я. – Утром вы получили извещение о моем приезде, а между тем меня задерживает наиковарнейшее ландшафтное сооружение... Что за причуда вынудила вас устроить нечто подобное? Неужели вы изменились даже в большей степени, чем я думал? Пятнадцать лет назад вам и в голову бы не пришло воздвигать столь хитрые укрепления».

Пятнадцать лет тому назад ночь, наверное, была похожа на эту. Небо озарялось теми же звездами, и точно так же молчание ночи нарушалось кваканьем лягушек, светлым, коротким, чистым и нежным. Соловей пел ту же песню, что поет сегодня. Дядюшка, та давнишняя ночь была так же очаровательна, как и эта. А между тем тогда моя тетя и моя мать только что умерли с промежутком в восемь дней, и после ухода обеих сестер мы с вами остались вдвоем, одиночками: один – вдовцом, а другой – сиротой.

И человек из тех далеких дней встал перед моим мысленным взором таким, каким его знал тогда весь Нантель: в тридцать пять лет уже знаменитый хирург, прославившийся изумительной ловкостью рук и успехом своих смелых методов и, несмотря на свалившуюся на него славу, оставшийся верным родному городу. Доктор Фредерик Лерн, профессор медицинского факультета, член-корреспондент многочисленных научных сообществ, кавалер множества различных орденов и, чтобы уж ничего не упустить, опекун своего племянника Николя Вермона.

* * *

Со своим опекуном, назначенным мне законом, я встречался редко, так как он никогда не брал отпусков и навещался в Фонваль лишь летом, только по воскресеньям. Впрочем, даже тогда он беспрестанно работал, в стороне от всех. В эти дни страстная дядюшкина любовь к садоводству, подавляемая всю неделю, приводила его в небольшую оранжерею, где он возился с тюльпанами и орхидеями.

И все же, несмотря на то что виделись мы не так уж и часто, я его прекрасно знал и очень любил.

На вид это был крепкий, уравновешенный и скромный человек, быть может, несколько холодноватый, но большой добряк. Я непочтительно называл его начисто выбритое лицо «лицом старой бабы», но был в своих издевках несправедлив, ибо порой оно выглядело на античный манер, величественным и серьезным, а порой – изысканно-насмешливым, в этаким «стиле Регентства», и среди современников, бреющих усы и бороду, мой дядюшка был одним из немногих, чьи голова и физиономия своим благородством всецело подтверждают происхождение от прародителей, ходивших в шелках и тогах, и позволили бы даже их отпрыску носить одежды предков, не позоря последних.

В данную минуту Лерн представал перед моим мысленным взором в том довольно плохо скроенном черном рединготе, в котором он был, когда мы виделись в последний раз – перед моим отъездом в Испанию. Будучи человеком богатым и желая и меня видеть таким же, дядюшка отправлял меня туда торговать пробкой в качестве служащего торгового дома Гомеса в Бадахосе.

Моя «ссылка» продолжалась пятнадцать лет. За это время материальное положение профессора, несомненно, стало еще более прочным, судя по проводимым им изумительным операциям, слухи о которых дошли до меня даже там, в дальнем конце Эстремадуры.

Мои же дела складывались довольно скверно. После пятнадцати лет упорного труда я окончательно потерял надежду открыть собственную фирму по продаже пробки и спасательных поясов. Поэтому я возвратился во Францию, чтобы подыскать себе какое-нибудь другое занятие, как вдруг судьба, сжалившись надо мной, дала мне возможность жить, не думая о заработке: это я – то лицо, на долю которого достался главный выигрыш в миллион и которое захотело сохранить инкогнито.

Я устроился в Париже уютно, но без роскоши. У меня была простая и вместе с тем весьма удобная квартира. Я обзавелся только самым необходимым, добавив к этому разве что автомобиль, но так и не женившись.

Да и прежде, чем пытаться обзавестись новой семьей, мне казалось необходимым восстановить отношения со старой, то есть с Лерном, и я ему написал.

Нельзя сказать, что мы не переписывались с момента нашего расставания. Вначале он давал мне много советов в своих письмах и относился ко мне по-отечески. В своем первом письме он даже сообщил мне, что составил в мою пользу завещание, указав, в каком потайном ящике в Фонвале оно спрятано. Отношения наши не изменились и после того, как он сдал мне отчет по опеке. Затем, ни с того ни с сего, письма стали приходить все реже и реже, тон их приобрел сначала какой-то скучающий оттенок, потом сделался сварливым, содержание писем стало банальным, тривиальным, стиль отяжелел, и даже почерк как будто испортился. Все эти перемены усиливались с каждым письмом; мне пришлось ограничиться ежегодной посылкой поздравления к Новому году. В ответ я получал пару строк, нацарапанных небрежным почерком... Расстроенный потерей моей единственной привязанности, я был в отчаянии.

Что же случилось?

За год до этой внезапной перемены – и за пять лет до моего теперешнего приезда в Фонваль и путешествия по лабиринту – я прочел в газете «Эпоха» следующее:

«Из Парижа нам пишут, что доктор Лерн отказался от практики, чтобы целиком отдаться научным исследованиям, над которыми он работал в Нантельской больнице. С этой целью знаменитый хирург решил окончательно поселиться в своем арденском замке Фонваль, специально приспособленном *ad hoc*³. Он пригласил к себе на службу несколько опытных сотрудников, в том числе доктора Клоца из Мангейма и трех лаборантов *Anatomisches Institut*⁴, основанного Клоцем на Фридрихштрассе, 22, и теперь вынужденно закрывшегося. Когда можно ждать результатов?»

Лерн подтвердил это сообщение в восторженном письме. Оно, впрочем, ничего нового по сравнению с газетными заметками не заключало. А год спустя, как я уже сказал, с ним произошла эта удивительная перемена. Может быть, после двенадцатимесячной работы он потерпел неудачу? Может быть, это настолько расстроило моего дядю, что он стал смотреть на меня как на чужого, насильно влезавшего к нему в душу?

³ Для данного случая (*лат.*).

⁴ Институт анатомии (*нем.*).

Несмотря на такую его холодность, даже враждебность, я из Парижа написал ему в тоне крайне почтительном и максимально любезном, сообщая, что преуспел в Испании, и прося разрешения навестить его.

Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь получал менее заманчивое приглашение, чем я от дядюшки. Лерн просил меня непременно заблаговременно предупредить о приезде, чтобы он успел прислать за мной на станцию лошадей. «Вероятно, ты тут не удержишься, – добавлял он, – потому что жизнь в Фонвале далеко не веселая. Мы здесь много работаем. *Приезжай один и предупреди о прибытии*».

* * *

Черт подери! Разумеется, я предупредил его заблаговременно и явился один! Я-то считал визит к дядюшке своей обязанностью. Ну да, как же! Обязанность! Глупость, и ничего более.

И я со злобой глядел на перекресток аллей, тонувших в полумраке, потому что мои тухнувшие фары освещали местность не ярче ночника.

Совершенно ясно, что мне придется провести всю ночь в этой лесной тюрьме; до утра уж мне никак не выбраться. Лягушки могли надрываться сколько им угодно на фонвальском пруду; бой часов на грейской колокольне также тщетно указывал мне направление (ведь колокольни и в самом деле могут быть названы звуковыми маяками) – все это ни к чему не вело, я был в плену.

Пленник! Эта мысль вызвала у меня улыбку. Как я бы испугался этого прежде, в давно прошедшие времена! Пленник арденнского леса! Оказавшийся во власти Броселианда, дремучего леса, который своей тенью покрывал почти целый материк, начинаясь у Блуа и доходя по цепи гор чуть ли не до Константинополя. Броселианд! Место действия детских сказок и легенд, родина четырех сыновей Эймона и Мальчика-с-пальчика; лес друидов и гоблинов, тот самый, где заснула Спящая красавица, над которой бодрствовал Карл Великий. Для каких только невероятных историй не служили декорацией его деревья, если только они же и не были действующими лицами! «Ах, тетушка Лидивина, – пробормотал я, – как вы умели оживлять все эти нелепые выдумки, которые рассказывали по вечерам после ужина! Славная женщина! Приходило ли ей когда-либо в голову, сколь сильное впечатление производят на меня ее истории? Знали ли вы, тетушка, что все ваши чудесные персонажи заполняли мою жизнь, приходя ко мне ночью во сне? Знаете ли вы, что до сих пор в моих ушах звучат порой те напевы, которые вы когда-то вызывали в моем воображении, рассказывая фонвальскими вечерами о трубе Роланда или о роге Оберона?»

* * *

Мои размышления были прерваны тем неприятным обстоятельством, что фары, несколько раз тревожно мигнув, потухли. Я не смог сдержать досадливого жеста. На миг наступила абсолютная темнота; кругом воцарилась столь глубокая тишина, что мне показалось, будто я вдруг ослеп и оглох.

Потом мои глаза мало-помалу прозрели, а вскоре появился лунный серп, распространяя холодный молочный свет вокруг себя. Лес побелел, и стало как будто холоднее. Я задрожал. При тете это случилось бы от страха: испарения, клубившиеся белым туманом в лесу, я принял бы за драконов и змей; пролетела сова – а мое воображение нарисовало бы покрытый перьями шлем заколдованного рыцаря; прямая береза, белый ствол которой блестел, как копье, стала бы дочерью волшебного дерева; дрогнувший от ветерка дуб сделался бы супругом принцессы Лелины.

Понятно, что ночной пейзаж давал простор воображению и мог довести до галлюцинаций. От нечего делать я задумался о прошлом. Конечно, я тогда не понимал причин этого явления так хорошо, как теперь, но я и тогда находился во власти чар леса и с наступлением сумерек неохотно выходил из замка. Да и сам Фонваль, несмотря на бесчисленное множество цветов и прекрасные извилистые аллеи, был довольно зловещим местом. Замок был перестроен из аббатства: стрельчатые окна, вековые деревья, окружавшие его, расставленные по парку статуи, неподвижная вода пруда, окружавшие ущелье утесы, въезд в него, точно ворота в ад, — все это придавало ему странный, мрачный вид даже и в светлое время суток, так что, право, ничего не было бы удивительного, если бы там все происходило на сказочный лад. Там и надо было бы вести себя как в сказках.

Я по крайней мере во время каникул всегда так и поступал. Для меня каникулы были длинным сказочным представлением, действующие лица которого проводили куда больше времени на деревьях, в воде или под землей, чем на земле. Когда я босиком галопом мчался по лугу, всякому было понятно, что вслед за мной скачет эскадрон кавалерии. А старая рассохшаяся барка! С тремя метлами, изображавшими мачты, и такими же причудливыми парусами, она была моим адмиральским кораблем и олицетворяла флот крестоносцев на Средиземном море, роль которого с успехом исполнял пруд. Я мечтательно смотрел на кувшинки, и они казались мне островами; я громко называл их по имени: вот Корсика и Сардиния... Мы проходим мимо Италии... Мы огибаем Мальту... Через несколько минут я кричал: «Земля! Земля!» Высаживался в Палестине: «Монжуа и Сен-Дени!» На ней я перенес все ужасы морской болезни и пережил тоску по родине; я боролся за Гроб Господень; я узнал вдохновение и географию...

Часто случалось, что остальные роли исполняли предметы. Мне казалось, что так больше похоже на правду. Я вспоминаю — ведь в душе каждого ребенка таится Дон Кихот, — я вспоминаю о великане Бриарее, которого изображал небольшой павильон, и о бочке, которая была драконом Андромеды. Ах, боже мой, эта бочка! Я приделал к ней голову из тыквы и крылья вампира из двух зонтиков. Это страшилище было спрятано за поворотом аллеи позади терракотовой нимфы, и я отправился на поиски дракона, чувствуя себя храбрее самого Персея, вооруженный прутом, верхом на воображаемом фантастическом крылатом коне. Но когда я его нашел, тыква посмотрела на меня таким странным взглядом, что Персей чуть не ударился в бегство и от волнения искромсал зонтики и тыкву вдребезги.

Созданные мною чучела действовали на меня, точно они на самом деле были теми существами, которых они изображали. Так как я всегда оставлял себе главную роль — героя, победителя, то без труда преодолевал свою робость днем, но ночью богатырь становился Николя Вермоном, мальчишкой, а бочка оставалась драконом. Свернувшись калачиком под одеялом, взволнованный только что рассказанной тетушкой сказкой, я чувствовал, знал наверное, что сад полон фантастических существ, что Бриарей там стоит на страже и ужасный воскресший дракон, сжимая когти, внимательно следит за моим окошком.

Я тогда потерял надежду на то, что стану когда-нибудь похожим на других и сумею, даже когда вырасту, пренебрежительно относиться к сумеркам. А между тем с годами все мои страхи испарились; хотя я и теперь очень впечатлителен, но далеко не робкого десятка; и сейчас я несколько не беспокоился из-за того, что заблудился в пустынном лесу — к сожалению, слишком пустынном, покинутом феями и волшебниками.

* * *

Меня вернул к действительности какой-то неопределенный шум, донесшийся со стороны Фонваля, — то ли рев быка, то ли протяжный, скулящий вой собаки. Затем эти звуки стихли, и снова воцарилась тишина.

Прошло несколько минут, и я услышал, как в пространстве между мной и замком взлетела сова, потом поднялась другая – поближе ко мне, потом взлетали другие, все ближе и ближе. Было похоже на то, что их испугивает какое-то существо, пробираясь мимо них.

И действительно, послышался шум легких шагов – drobный топот какого-то четвероногого животного, которое приближалось, звонко стуча копытами по сухой дороге. Я услышал, как оно ходит туда-сюда по лабиринту, вероятно тоже сбившись с пути, – и вдруг совершенно неожиданно возникло передо мной.

По развесистым рогам, гордой посадке головы, тонким ушам можно было сразу узнать старого оленя. Но не успел я даже подумать об этом, как он меня увидел и, быстро повернувшись, скрылся с глаз. Мне показалось – может быть, он просто пригнулся, чтобы сделать большой прыжок, – что он странно низкого роста, болезненно мал и, что еще удивительнее, совершенно белого цвета. Впрочем, может быть, последнее обстоятельство объяснялось освещением? Животное исчезло в мгновение ока, и скоро даже топот копыт постепенно затих.

Принял ли я сначала козу за оленя или же потом оленя за козу? Следует признаться, меня это сильно заинтриговало – до такой степени, что я спросил себя, не вернусь ли я в Фонвале к грезам своего детства? Но, немного поразмыслив, я понял, что голод, усталость и бессонница, да еще и при свете луны, могут вызвать и не такой обман зрения и что луч, падающий на предмет и преображающий его, не является чем-то необычным.

Впрочем, мне было жаль, что это не так: страх перед чудесным прошел, но любовь к нему осталась.

Оно всегда меня увлекало. Ребенком я видел его повсюду; возмужав, находил удовольствие предполагать чудесное во всем, не поддающемся объяснению, охотно считая сверхъестественным любое странное следствие непонятной причины. Подхватывая мысль философа, «когда вода тростник сгибает вдруг», мне неприятно, что «в своем уме его я выпрямляю разом»⁵, и уж лучше бы я не знал, что без разложения солнечного света Феб не смог бы натянуть тетиву своего восхитительного и грозного лука.

И все же среди всего того, что направлено на уничтожение иллюзии чуда, на первый план нужно поставить привлекательность для нас этого самого чуда, наше желание верить в чудесное. Мы говорим себе: «Может, это и есть чудо, но ведь это всего лишь предположение; для того чтобы насладиться им в полной мере, хотелось бы рассмотреть его поближе, чтобы знать уже наверняка». Приближаемся – истина проясняется, и чудо исчезает. В этом отношении я такой же, как все: столкнувшись с тайной, самым прельстительным в которой является окутывающий ее покров, я, рискуя испытать горчайшее разочарование, желаю лишь одного – этот покров сорвать.

Словом, это было чрезвычайно необычное животное, оно казалось мне непостижимой загадкой и этим пробудило во мне любопытство.

Но в силу крайней усталости вскоре я уснул, перебирая в уме разнообразные уловки из числа тех, которыми пользуются сыщики-детективы, и искусные методы логического расследования.

* * *

Проснулся я на заре и сразу же увидел, что моему плену пришел конец. Невдалеке от меня, в лесной чаще, разговаривая друг с другом, шли люди. Они проходили туда и обратно, как тот олень, разбираясь, по-видимому, в запутанных дорожках лабиринта. Был момент, когда они, скрытые кустарником, прошли на расстоянии нескольких метров от автомобиля, но я не понял ни слова из их беседы. Мне показалось, что они говорят по-немецки.

⁵ Имеется в виду философ из басни Жана де Лафонтена «Зверь на Луне» (*фр.* Un Animal dans la lune).

Наконец они дошли до того места, на котором вчера появилось животное; я увидел трех человек, внимательно исследовавших почву, точно они искали чей-то след. Там, где олень повернул обратно, один из них издал какое-то восклицание и жестом показал спутникам, что надо идти назад. Но тут они меня увидели, и я подошел к ним.

– Господа, – сказал я, постаравшись улыбнуться как можно любезнее, – не будете ли вы добры показать мне дорогу в Фонваль? А то я тут заблудился...

Все трое смотрели на меня недоверчиво и угрюмо, не отвечая.

Это было весьма примечательное трио.

У первого было короткое массивное туловище и круглая голова с совершенно плоским, тоже круглым лицом, на диске которого торчал тонкий, длинный и острый нос и делал это лицо похожим на солнечные часы.

Второй, с военной выправкой, все время покручивал свои усы, которые он носил на манер германского императора. Отличительной чертой его был громадный подбородок, который выдавался вперед, как корабельный нос.

Третий был высокого роста старик в золотых очках, с седой, выющейся шевелюрой и запущенной бородой. Он ел вишни так же шумно, как какой-нибудь мужлан жует требуху.

Несомненно, то были немцы; вероятно, три лаборанта бывшего *Anatomisches Institut*.

Старик выплюнул в мою сторону косточки, а в сторону товарищей одну из тех немецких фраз, в которых вместе со словами разряжается еще картечь других бесчисленных звуков. Они обменялись несколькими замечаниями, как залпами, затем, напоминая своим разговором шум водопада – это они держали совет между собой, – повернулись ко мне спиной и ушли, оставив меня в полном недоумении от их грубости.

* * *

Но нужно было как-то выпутываться из этого положения! Поездка с каждым часом становилась все более смешной и нелепой. Что все это могло значить? Что это была за комедия? В конце концов, меня просто-напросто выставили посмешищем! Предполагаемые тайны, которые я вроде бы как учуял, теперь казались мне детской фантазией, навеянной усталостью и темнотой. «Убираться отсюда! – скомандовал я себе. – Убираться немедленно!»

Клокоча от ярости и не думая о том, что я делаю, я соединил контакт, запустивший машину, и двигатель мощностью восемьдесят лошадиных сил загудел под капотом, словно рой пчел в улье. Уже готовый двинуться в путь, я схватился за пусковой рычаг, но раздавшийся за спиной взрыв хохота заставил меня обернуться.

Заломив кепи набекрень, в синей блузе, с мешком, наполненным письмами, веселый и торжествующий, ко мне подходил почтальон.

– Ха-ха! Я же говорил вам вчера вечером, что вы ошиблись дорогой! – заметил он тягучим голосом.

Я узнал крестьянина, кричавшего мне что-то в Грей-л'Аббее, но вследствие мрачного настроения ничего не ответил.

– Но вы же в Фонваль едете? – не отставал он.

Я предал Фонваль уж и не помню какой, отнюдь не религиозной анафеме, суть которой сводилась к тому, что и он сам, и все обитатели замка могут отправляться ко всем чертям.

– Потому что, – продолжал почтальон, – если вы едете туда, могу показать вам дорогу. Как раз несу туда почту. Только поторопитесь: сегодня она у меня двойная: как-никак понедельник, а по воскресеньям я туда не хожу.

Говоря это, он вытащил из мешка письма и принялся их разбирать.

– Покажите-ка мне вот это! – взволнованно воскликнул я. – Да-да, вот этот вот желтый конверт...

Он окинул меня подозрительным взглядом и показал конверт издали.

Да, это было оно – то самое письмо, в котором я сообщал о своем приезде! Вместо того чтобы опередить меня на день, оно пришло на целую ночь позже.

Это досадное обстоятельство снимало с дядюшки всяческую вину – моя злость в один миг испарилась.

– Садитесь, – сказал я. – Покажете дорогу, да и поболтаем немного.

* * *

Мы тронулись в путь. Наступало утро нового дня.

Дымка мало-помалу рассеивалась, словно солнцу, осветившему сумерки, не терпелось прогнать эти исчезающие испарения, запоздалую тень тумана, легкий остаток ночи, удаляющийся след исчезнувшего привидения.

Глава 2

Среди сфинксов

Автомобиль неспешно ехал по извилистым аллеям лабиринта. Порой на пересечении путей почтальон и сам несколько секунд колебался, не зная, какой выбрать.

– И давно эти зигзаги заменили прямую дорогу? – спросил я.

– Четыре года тому назад, мсье, примерно через год после того, как господин Лерн окончательно поселился в замке.

– А вы не знаете, с какой целью это было сделано? Вы можете говорить откровенно: я – племянник профессора.

– Ну как же! Всё потому... что он большой оригинал.

– Что же он делает такого необычайного?

– Господи, да ничего особенного... Его почти никогда и не видно – вот что странно! До того как ему вздумалось устроить тут эту запутанную ерундовину, его часто можно было встретить – прогуливался по полям, ну а теперь он разве что ездит куда-то из Грея на поезде – раз в месяц, не чаще.

Короче говоря, все странности поведения моего дядюшки начались одновременно: постройка лабиринта и изменение тона писем. Похоже, в то время что-то сильно повлияло на его разум.

– А его компаньоны? – возобновил я разговор. – Немцы?

– О! Эти, мсье, вообще какие-то невидимки! Да и потом, представьте себе: даже я, которому приходится бывать в Фонвале шесть раз в неделю, уж и не помню, когда в последний раз видел парк хоть краешком глаза. Господин Лерн самолично выходит за почтой к воротам. Такая вот перемена! Вы знали старого Жана? Так вот: бросил службу и уехал, и жена его тоже. Истинная правда, мсье: тут нет больше ни кучера, ни экономки... ни даже лошади.

– И все это началось четыре года тому назад?

– Совершенно верно, мсье.

– А скажите, милейший, здесь ведь много дичи, не так ли?

– Право же, я бы так не сказал. Есть сколько-то кроликов, пара-тройка зайцев... Но вот лисиц – тьма-тьмушая!

– Как – неужели нет косуль, оленей?

– Ни разу не видел!

Меня охватило странное чувство радости.

– Вот мы и на месте, мсье.

После последнего поворота дорога действительно вышла на старую аллею, от которой Лерн сохранил этот небольшой участок. Ее окаймляли два ряда лип, а из глубины как бы выдвигались нам навстречу ворота Фонваля. Перед воротами аллея расширялась, образуя полукруглую площадку, за которой на фоне зелени деревьев виднелись очертания синей крыши замка и сами деревья, стоявшие на мрачном склоне оврага.

Сильно обветшавшие в средней своей части ворота, располагавшиеся между утесами, были по-прежнему покрыты черепичной кровелькой; изъеденное червями дерево местами раскрошилось, но звонок ничуть не изменился. Его звук, радостный, светлый и отдаленный, так живо напомнил мне детство, что я чуть не заплакал.

Нам пришлось подождать несколько минут.

Наконец послышался стук сабо.

– Это вы, Гийото? – произнес голос с типичным зарейнским акцентом.

– Да, господин Лерн.

Господин Лерн? Я посмотрел на своего проводника разинув рот. Как, это мой дядюшка говорит с таким акцентом?

– Вы раньше обычного времени, – продолжал тот же голос.

Раздался лязг отодвигаемых засовов, и в образовавшуюся щель просунулась рука.

– Давайте...

– Вот, господин Лерн, держите, но... со мной приехал еще кое-кто, – пробормотал внезапно оробевший почтальон.

– Кто такой? – нетерпеливо вскричал голос, и в едва приоткрытую калитку протиснулась фигура человека.

Это и в самом деле был мой дядюшка Лерн. Но жизнь наложила на него курьезную печать, по всей видимости сильно его потрепав: передо мной стоял свирепый и неряшливый субъект, чьи длинные седые волосы свисали на воротник истрепанного, поношенного костюма. Преждевременно состарившийся, он враждебно глядел на меня сердитыми глазами из-под нахмуренных бровей.

– Что вам угодно? – грубо осведомился он, произнеся эти слова так: «Што фам укотно?»

На какой-то миг меня охватило сомнение. Дело в том, что его лицо уже никак не напоминало лицо доброй старушки; это была физиономия индейца сиу, безволосая и жестокая, и при виде ее я испытал противоречивые ощущения – вроде как и узнал Лерна, и не узнал.

– Ну как же, дядюшка, – пролепетал я наконец, – это же я... Приехал повидаться с вами... с вашего разрешения. Я писал вам об этом, но письмо... вот оно... мы с ним прибыли одновременно. Простите за эту оплошность.

– А, ну ладно! Так бы сразу и сказали. Это я должен попросить у вас извинения, мой дорогой племянник.

Внезапно произошла полная перемена. Покрасневший, сконфуженный, почти подобострастный, Лерн засуетился. Это его замешательство, неуместное по отношению ко мне, немало шокировало.

– Ха-ха! Вы приехали в механической коляске? Хм! Ее ведь нужно куда-то поместить, верно?

Он открыл ворота настежь.

– Здесь зачастую приходится быть слугою самому себе, – сказал он под скрип старых ворот.

При этих словах дядюшка громко хмыкнул, но вид у него был столь озадаченный, что я готов был держать пари: ему совсем не до смеха и мысли его витают где-то в другом месте.

Почтальон распрощался с нами.

– Сарай все на том же месте? – спросил я, показывая направо, на кирпичный домик.

– Да, да... Я не сразу вас узнал из-за усов, хм... Да, из-за усов; раньше ведь их у вас не было, верно? Ха-ха! Сколько вам уже лет?

– Тридцать один, дядюшка.

Когда я открыл сарай, сердце мое сжалось. Повозка, наполовину заваленная дровами, покрылась плесенью; сам сарай, как и рядом расположенная конюшня, был забит всяким полуразвалившимся хламом, повсюду лежала густая пыль, по углам все было затянуто паутиной, которая густыми прядями свисала даже с потолка.

– Уже тридцать один, – повторил Лерн, но сказал это как-то машинально, думая, по видимому, совсем о другом.

– Но послушайте, дядюшка, будьте со мною на «ты», как прежде.

– Ха! А ведь и верно, милый мой... хм... Николая, так ведь?

Я чувствовал себя сильно смущенным, но и дядюшке было не по себе. Очевидно, мое присутствие было для него не слишком желательным.

Незваному гостю всегда хочется узнать, почему он является помехой: я подхватил свой чемодан.

Лерн заметил мой жест и, похоже, вдруг принял решение.

– Оставьте!.. Оставь, Николя, – произнес он почти повелительным тоном. – Я сейчас же пошлю за твоим багажом. Но прежде нам нужно поговорить. Пойдем прогуляемся.

Он взял меня под руку и потащил в парк, не переставая, впрочем, о чем-то размышлять.

Мы прошли мимо замка. За немногими исключениями, все ставни были закрыты. Крыша местами осела, местами даже была пробита; на обветшалых стенах штукатурка обвалилась пластами – и там и сям видна была кирпичная кладка. Растения в кадках по-прежнему были расставлены кругом замка, но ясно было видно, что уж не одну зиму они провели на открытом воздухе, вместо того чтобы быть убранными в оранжерею. Вербены, гранатовые, апельсиновые и лавровые деревья стояли засохшими и мертвыми в своих сгнивших и продырявленных кадках. Песчаная площадка, которую когда-то тщательно подчищали, могла теперь сойти за скверный лужок, так она заросла травой и крапивой. Все походило на замок Спящей красавицы перед приходом принца.

Лерн шел под руку со мной, не говоря ни слова.

Мы завернули за угол печального замка, и моему взору явился парк: полная разруха. И следа не осталось от цветочных клумб и широких песчаных аллей. За исключением лужка перед замком, превращенного в пастбище и окруженного проволоочной решеткой, вся оставшаяся долина вернулась к своему изначальному состоянию первобытной чащи. Кое-где виден был след бывших аллей по чуть заметному понижению уровня почвы, но повсюду росли молодые деревца. Сад превратился в густой лес с рассеянными на нем полянами и зеленеющими тропинками. Арденнский лес вернулся на насильно отнятое у него место.

Лерн дрожащей рукой задумчиво набил большую трубку, закурил, и мы прошли в лес, направившись по одной из аллей, похожих теперь на зеленые гроты.

По пути мне встретились старые статуи, на которые я смотрел разочарованным взглядом. Один из предыдущих владельцев замка расставил их в изобилии. Эти великолепные соучастники моих прежних переживаний были, в сущности говоря, простыми современными изделиями, вылепленными каким-нибудь ремесленником под влиянием римских и греческих образцов во времена Второй империи. Бетонные пеплумы вздувались, будто кринолины, и прически этих лесных божеств – Эхо, Сирикс, Аретусы – напоминали шиньоны, заключенные в сетки «а-ля Бенуатон»⁶.

* * *

Пройдя в молчании с четверть часа, дядюшка усадил меня на каменную скамью, сплошь покрытую мхом, стоявшую в тени громадных орешников, и сам сел рядом со мной.

В густой листве, как раз над нашими головами, послышался легкий треск.

Дядюшка судорожно вскочил и поднял голову.

Среди ветвей сидела самая обычная белка и внимательно смотрела на нас.

Дядюшка пронзил ее свирепым взглядом, словно прицеливаясь, затем облегченно рассмеялся.

– Ха-ха-ха! Да это всего лишь какая-то маленькая... штучка, – сказал он, не найдя, по-видимому, подходящего слова.

Однако, подумал я, каким чудаковатым становишься, когда стареешь. Я знаю, что среда способствует всяким переменам: не только начинаешь говорить помимо своей воли как окру-

⁶ *Мадемуазель Бенуатон* – персонаж комедии Виктора Сарду «Семья Бенуатон» (1867), рассказывающей о моральных ценностях нуворишей.

жающие, но даже подражаешь их движениям; достаточно вспомнить, с кем дядюшке приходится жить, чтобы объяснить себе, почему он грязен, вульгарно выражается, говорит с немецким акцентом и курит громадную трубку... Но он разлюбил цветы, забросил свое хозяйство и дом и выглядит сейчас удивительно расстроенным и нервным... А если прибавить к этому еще и приключения этой ночи, то все становится еще менее понятным.

А профессор между тем окидывал меня приводящим в смущение оценивающим взглядом, словно никогда не видел до сих пор. Меня это глубоко озадачило.

В его душе происходила борьба, отголоски которой отражались на лице; я ясно видел, что он колеблется между двумя противоположными решениями. Наши взгляды ежесекундно скрещивались, и наконец дядюшка, посчитав, что неловкое молчание слишком затянулось, решился на вторую попытку.

– Знаешь, Николя, – сказал он, хлопнув меня рукой по бедру, – а ведь я разорен!

Я сразу понял его план и возмутился:

– Дядюшка, будьте откровенны – хотите, чтобы я уехал?

– Я? Как ты мог такое подумать, мой мальчик!

– Да я в этом даже не сомневаюсь! Ваше приглашение само по себе могло отбить охоту приезжать, да и встретили вы меня не слишком радушно. Но, дядюшка, у вас, должно быть, очень короткая память, если вы считаете меня настолько корыстолюбивым, чтобы явиться сюда исключительно ради наследства. Я вижу, что вы не тот, каким были, – впрочем, я это почувствовал уже по вашим письмам, – но то, что вы прибегаете к такой грубой уловке, чтобы изгнать меня отсюда, просто поразительно, потому что сам я за эти пятнадцать лет ничуть не изменился; я не перестал глубоко вас уважать и, право же, ни в малейшей степени не заслуживаю ни этих ледяных писем, ни, клянусь Богом, этого оскорбления.

– Ну, ладно, ладно, тише... – с явной досадой пробормотал Лерн.

– К тому же, – продолжал я, – если вы хотите, чтобы я уехал, скажите это прямо – и прощайте. Вы мне больше не дядя!

– Не смей так кошунствовать, Николя!

Он произнес это столь перепуганным тоном, что я попытался еще больше смутить его:

– И я донесу на вас, дядюшка, – на вас и на ваших сподвижников! Я выведу вас на чистую воду!

– Ты не в себе! Совершенно свихнулся! Может, уже замолчишь? Это ж надо такое придумать!

Лерн расхохотался во все горло, но, уж и не знаю почему, выражение его глаз испугало меня, и я пожалел о сказанном. Он между тем продолжал:

– Послушай, Николя, не бери в голову. Ты славный парень! Дай-ка мне руку – вот так. Ты всегда найдешь во мне своего старого дядю, который тебя крепко любит. Конечно же, это неправда: я вовсе не разорен, и мой наследник что-то наверняка получит... если поступит согласно моей воле. Но... в том-то и дело, что, как мне кажется, тебе бы лучше здесь не оставаться... Здесь нет ничего такого, что могло бы послужить развлечением для человека твоего возраста, Николя. Сам же я весь день занят.

Теперь профессор мог говорить сколько его душе было угодно. Лицемерие сквозило во всех его словах; он оказался Тартюфом, так что щадить его не стоило, а, наоборот, следовало разоблачить: я решил, что не уеду, пока вполне не удовлетворю своего любопытства. Поэтому я перебил его.

– Ну вот, – сказал я обиженным тоном, – вы снова поднимаете вопрос о наследстве, чтобы уговорить меня покинуть Фонваль. Определенно, вы мне больше не доверяете.

Он помотал головой – всё, мол, не так. Я продолжал:

– Позвольте мне, наоборот, остаться тут, дядюшка, чтобы мы могли возобновить нашу дружбу. Мы оба в этом нуждаемся.

Лерн нахмурил брови, потом шутливо сказал:

– Что – все вынашиваешь планы доноса?

– Вовсе нет! Но не гоните меня от себя, не то вы очень меня огорчите, и, по правде сказать, – добавил я тоже шутливым тоном, – я уже не буду знать, что и думать...

– Перестань! – резко воскликнул дядюшка. – У тебя нет ни малейших оснований предполагать что-либо плохое – тут ничем подобным даже и не пахнет!

– Охотно верю. И все же у вас есть тайны, но это ваше право – иметь их. Если я и заговорил с вами о них, то лишь потому, что должен был это сделать, чтобы уверить вас: я буду относиться к ним с уважением.

– Есть всего лишь одна тайна. Одна-единственная! И ее цель благородна и благотельна! – чуть ли не по слогам произнес дядюшка, вдруг оживившись. – Слышишь – одна-единственная! И это – тайна нашей работы: всеобщее благоденствие, слава, несметное богатство... Но пока обо всем этом нужно молчать... Да и какие тут могут быть тайны? Всем известно, что мы здесь и что мы здесь работаем! Во всех газетах об этом писали. Какая же это тайна?

– Успокойтесь, дядюшка, и определите сами, как мне вести себя у вас. Отдаю себя в ваше полное распоряжение.

Лерн снова погрузился в размышления.

– Ну хорошо, – сказал он, подняв наконец голову, – пусть будет так. Ты всегда был мне родным, и я не могу тебя оттолкнуть. Это значило бы отречься от всего прошлого. Оставайся тут, но вот на каких условиях.

Наш труд почти окончен. Когда опыты подтвердят наше открытие, мы опубликуем его, и весь мир узнает о нем сразу. До того времени я не хочу, чтобы кто-нибудь проведал что бы то ни было о ходе наших работ, потому что сообщение о не увенчавшихся успехом опытах может дать подсказку нашим конкурентам, которые могут опередить нас. Я не сомневаюсь в том, что ты умеешь хранить тайны, но предпочитаю не искушать тебя и поэтому прошу тебя для твоего же блага ничего не выведывать, для того чтобы нечего было скрывать.

Повторюсь: для твоего же блага. И не только потому, что легче не копаться в том, в чем не надо, чем молчать, но также и по следующим причинам.

Наше предприятие, в конце концов, – вполне коммерческое. Деловой человек твоего склада мне впоследствии очень пригодится. Мы разбогатеет, племянничек, мы будем обладать миллиардами. Но для этого ты должен дать мне возможность создать фундамент для нашего богатства; ты с сегодняшнего дня должен быть тактичным и беспрекословно подчиняться моим распоряжениям, чтобы оказаться достойным занять место моего компаньона.

Кроме того, я – не единственный участник этого предприятия. Тебя могли бы заставить раскаться в неповиновении тем правилам, которые я тебе предписываю... раскаться... жестоко... более жестоко, чем ты можешь себе это вообразить.

Поэтому будь безучастен ко всему, племянничек. Старайся ничего не видеть, не слышать и не понимать, если хочешь быть миллионером и... остаться... в живых.

Но имей в виду, что безучастность вовсе не легкая добродетель, особенно в Фонвале... Как раз этой ночью по недосмотру вырвалось на свободу нечто такое, что не должно было там оказаться.

При этих словах Лерна вдруг охватил страшный гнев. Он угрожающе протянул кулаки в пустоту и пробурчал сквозь зубы:

– Тупой осёл – вот он кто, этот Вильгельм!

Теперь я окончательно убедился, что тайна была значительна и что раскрытие ее обещает мне много любопытного и неожиданного. Что же касается обещаний доктора, то я им придавал так же мало значения, как и угрозам, а рассказ его не возбудил во мне ни алчности, ни страха – чувств, на которых дядюшка хотел сыграть, добиваясь от меня послушания.

Я холодно спросил:

– Больше вы ничего от меня не требуете?

– Не совсем так. Но тут пойдет речь о... запрете иного характера, Николя. Видишь ли, сейчас в замке я тебя кое-кому представлю – одной особе, которую я приютил у себя... юной девушке...

Я посмотрел на него с удивлением, и Лерн догадался, в чем я его заподозрил.

– О нет! – воскликнул он. – Я отношусь к ней с отцовской любовью, и никак иначе. Но все же я ею очень дорожу, и мне было бы крайне неприятно, если бы ее чувство ко мне вытеснило другое, которое я уже не могу рассчитывать внушить. Короче, Николя, – пробормотал он поспешно, словно чего-то стыдясь, – я требую от тебя поклясться, что ты не станешь ухаживать за моей протеже.

Огорченный таким унижением, а еще больше его бестактностью, я, однако, подумал, что ревность без любви встречается так же редко, как дым без огня.

– За кого вы меня принимаете, дядюшка? Достаточно и того, что я у вас в гостях...

– Ладно, ладно. Я прекрасно знаю свою физиологию и как с ней управляться. Итак, могу я рассчитывать на тебя?.. Клянешься мне в этом?.. Прекрасно... Что же касается ее, – добавил он с самодовольной улыбкой, – то пока что я спокоен. Не так давно она имела возможность увидеть, как я обращаюсь с ее поклонниками... Не советую тебе испытать это на себе.

Поднявшись со скамьи, держа руки в карманах, а трубку в зубах, Лерн смотрел на меня с насмешкой и вызовом. Этот физиолог внушал мне непреодолимое отвращение.

Мы продолжили нашу прогулку по парку.

– Кстати, ты говоришь по-немецки? – спросил вдруг профессор.

– Нет, дядюшка, владею только французским и испанским.

– По-английски тоже не говоришь? Не слишком-то шикарно для будущего короля торговли! Не многому тебя научили.

«Рассказывайте другим, дядюшка, морочьте других!.. Я начал с того, что широко раскрыл глаза, потому что вы велели их зажмурить, и прекрасно увидел по вашему довольному лицу, что вы недовольны только на словах».

* * *

Мы дошли до конца парка, следуя вдоль утесов, и увидели оба боковых крыла замка, такие же ветхие, как и фасад.

Как раз в эту минуту я обратил внимание на какую-то ненормальную птицу: это был голубь, который летел с необыкновенной быстротой и, описывая над нашими головами постоянно уменьшавшиеся круги, все ускорял свой полет.

– Видишь те розы, что растут на тернистом кусте? Очень красивые и интересные, – сказал дядюшка. – Из-за отсутствия ухода на них снова появились шипы.

– Какой странный голубь! – заметил я.

– Да посмотри же ты на цветы, – не отступал Лерн.

– Такое впечатление, что у него в голове дробинка... Так случается иногда на охоте. Он будет подниматься все выше и выше, а потом упадет с очень большой высоты.

– Не будешь смотреть под ноги – за что-нибудь зацепишься, упадешь и расцарапаешь себе лицо о шипы. Берегись, друг мой!

Это любезное предупреждение было сказано угрожающим тоном, совершенно не соответствовавшим смыслу слов.

Птица же в это время, достигнув центра спирали, не стала подниматься, как я ожидал, а начала снижаться, делая странные скачки и кувыркаясь через голову. Она ударилась об утес недалеко от нас и упала мертвой в кустарник.

Почему профессор вдруг сделался еще беспокойнее? Отчего он ускорил шаг? Вот вопросы, которые я задавал себе, как вдруг трубка выпала у него изо рта. Бросившись вперед, чтобы поднять ее, я не мог скрыть охватившего меня изумления: он перекусил трубку, стиснув в бешенстве зубы.

Инцидент закончился каким-то немецким словом – должно быть, ругательством.

* * *

Уже двигаясь обратно, в направлении замка, мы увидели, что в нашу сторону бежит какая-то толстуха в синем переднике.

По-видимому, с такой скоростью ей доводилось передвигаться крайне редко, и это было весьма нелегко, тела ее тряслись, и она крепко-накрепко обхватила себя руками, точно прижимала какую-то драгоценную, вырывающуюся из рук, слишком большую ношу. Увидев нас внезапно, она остановилась как вкопанная – что на первый взгляд казалось совершенно невозможным – и как будто хотела повернуть назад. Все же она решилась двинуться вперед, чрезвычайно сконфуженная, с выражением пойманной врасплох школьницы на лице. Она предчувствовала свою участь.

Лерн набросился на нее:

– Барб! Что вы здесь делаете? Забыли, что я запретил вам выходить за пределы пастбища? Кончится тем, что я выставлю вас из замка, Барб, но прежде накажу, сами знаете!

Толстуха жутко перепугалась. Она жеманно опустила глаза, поджала губы и закудаhtала объяснения: она, мол, увидела из кухни падение голубя и подумала, что он поможет ей разнообразить меню. Ведь приходится ежедневно есть одно и то же.

– Да и потом, – добавила она с глуповатой улыбкой, – я и подумать не могла, что вы в саду, – была уверена, что вы в ла...

Увесистая пощечина прервала ее на этом слогe – начальном слова «лабиринт», как я заключил.

– Да вы что, дядюшка! – негодуяше воскликнул я.

– Послушайте, вы! Или оставьте меня в покое, или убирайтесь вон! Поняли?

Барб была в таком ужасе, что даже не смела заплакать во весь голос: от сдерживаемых рыданий она лишь икала. Она страшно побледнела; костистая рука Лерна оставила на ее щеке ярко-красный след.

– Ступайте, возьмите в сарае багаж этого господина и отнесите в львиную комнату.

(Эта комната находилась на втором этаже западного крыла.)

– А нельзя мне занять ту, которую я занимал всегда, дядюшка?

– Это которую?

– Как это – которую? Ну ту, что на первом этаже... желтую, в восточном крыле, неужто забыли?

– Нет, – сухо отрезал Лерн. – Та занята. Ступайте, Барб.

Кухарка унеслась в замок так быстро, как только могла, поддерживая обеими руками дородную грудь, а нам дав возможность любоваться другой стороной ее грузной фигуры, колыхавшейся от быстрого бега.

* * *

Справа зеленел заросший пруд. Когда мы поравнялись с ним, наше отражение утонуло в нем, словно сон в летаргии. Меня охватывало все большее и большее удивление.

И все же я постарался ничем не выказать своего изумления при виде новой большой постройки из серого камня, примыкавшей одной стороной к утесу. Постройка эта состояла

из двух зданий, разделенных небольшим двориком; двор этот был закрыт от чужих взглядов стеной с воротами посредине, которые в данный момент тоже были закрыты, но оттуда доносилось хлопанье и даже раздался лай собаки, по-видимому почуявшей наше присутствие.

Я отважился прозондировать почву:

– Не покажете мне вашу ферму?

Лерн пожал плечами:

– Возможно.

Потом, повернувшись к дому, позвал:

– Вильгельм, Вильгельм!

Немец с лицом как солнечные часы открыл слуховое окно и высунулся в него. Профессор принялся его ругать на его родном языке так свирепо, что бедняга дрожал всем телом.

«Черт возьми! – сказал я себе. – Вероятно, это по его вине, *по его недосмотру*, как раз этой ночью вырвалось на свободу нечто такое, чего тут быть не должно».

Когда дядюшка окончил выговор, мы пошли дальше вдоль пастбища. На пастбище находились черный бык и четыре разномастные коровы. Все это стадо без видимой причины эскортировало нас во время нашей прогулки вдоль пастбища. Мой ужасный родственник развеселился:

– Вот, Николя, позволь представить тебе Юпитера. Белая – это Европа, рыжая – Ио, белокурая – Атор, а вот эта, последняя, в очаровательном наряде – можешь называть его каким угодно, дружок: молочным с чернильными пятнами или же угольным с меловыми полосами, – Пасифая.

Этот экскурс в область легкомысленной мифологии заставил меня улыбнуться. По правде сказать, я готов был ухватиться за первый представившийся предлог, чтобы немного рассеяться; у меня была чисто физическая потребность в этом. Кроме того, я так проголодался, что мог думать лишь о том, как бы удовлетворить чувство голода. Поэтому меня притягивал только замок: там мне дадут поесть. И эта мысль чуть не заставила меня пройти мимо оранжереи, не обратив на нее внимания.

Было бы очень жаль. Старую оранжерею расширили, пристроив к ней два больших флигеля; насколько можно было разглядеть за опущенными шторами, все было сделано очень тщательно с применением всех новейших усовершенствований. Вся постройка целиком походила на что-то среднее между дворцом и колоколом и производила довольно неожиданное и сильное впечатление.

Такая роскошная оранжерея посреди всей этой разрухи? Я с не меньшим изумлением обнаружил бы фонтан наслаждений в монастыре.

Во времена моей тетушки львиная комната предназначена была для гостей. Она освещалась – и теперь освещается – тремя окнами, помещенными в нишах, вроде альковов. Одно окно выходит на ту сторону, где находится оранжерея, и снабжено балконом; другое смотрит на парк: сквозь него я увидел пастбище, за ним пруд, а совсем вдали павильон, который исполнял роль Бриарея; третье окно располагалось напротив восточного крыла, из него я увидел окна моей прежней комнаты – с опущенными шторами – и в перспективе весь фасад замка, заслонявший от меня вид налево.

Я почувствовал себя в этой комнате как в гостинице. Ни одна вещь не будила во мне воспоминаний. Картина Жуи, потрескавшаяся от времени, снятая со стены и брошенная куда-то в угол, прежде украшала ее яркой раскраской своих львов. Балдахин над кроватью и шторы были украшены теми же изображениями. Между окон симметрично висели две гравюры: «Воспитание Ахилла» и «Похищение Деяниры», которые были так сильно испорчены сыростью, что с трудом можно было рассмотреть лица; убранство довершали недурные нормандские часы, футляр которых напоминал поставленный вертикально гроб – и эмблема, и мера времени. Все это было старомодно и неприглядно.

Я с наслаждением умылся довольно жесткой водой и передел белье. Барб принесла мне, причем вошла не постучав, тарелку простого крестьянского супа, ни звука не ответила мне на высказанное мною сочувствие по поводу ее щеки и тяжеловесно испарилась, как гигантский эльф.

В гостиной никого не было, не считая двух теней.

Маленькое креслице, обитое черным бархатом с двумя желтыми кистями... Потерявшая форму подушка, которую я когда-то так удачно назвал жабой, разве я мог увидеть ее снова, не воскресив на ней тени моей милой сказочницы, моей славной тетушки? А тень моей матери – более строгой, с которой я не смел шутить, – разве я могу не вспомнить, как она облакачивалась на твои подлокотники, милое кресло, если только ты на самом деле кресло, а не что-нибудь другое?

Все осталось по-старому до мельчайших деталей. Начиная со знаменитых белых обоев с цветочными гирляндами, кончая ламбрекенами из серого шелка, обшитыми бахромой, – все удивительно сохранилось. Набитые шерстью подушки по-прежнему округляли поверхность диванов и кресел, и время не сделало более плоскими сиденья банкетов и пуфов. Со стен мне, как и в детстве, улыбались все мои усопшие родственники: мои предки, дедушки и бабушки – пастели-миниатюры, мой отец гимназистом – дагерротип; на камине были прислонены к зеркалу фотографические снимки в бумажных рамках. Групповая фотография большого формата привлекла мое внимание. Я снял ее, чтобы лучше рассмотреть. Это был мой дядюшка в обществе пяти мужчин и большого сенбернара. Фотография была сделана в Фонвале: фоном служила стена замка, и можно было узнать лавровое дерево в кадке. Любительский снимок, без фирмы. На карточке Лерн выглядел добрым, мужественным и веселым – словом, был похож на того ученого Лерна, каким я рассчитывал его увидеть. Из остальных пяти я узнал только троих – это были три немца, остальных двух я никогда не видел.

В этот момент дверь открылась так внезапно, что я даже не успел поставить карточку на место. Вошел Лерн, мягко подталкивая перед собой юную барышню.

– Мой племянник Николя Вермон – мадемуазель Эмма Бурдише.

Мадемуазель Эмма, надо полагать, только что выслушала от Лерна один из тех резких выговоров, на которые он был такой мастер. Это видно было по ее растерянному выражению лица. У нее не хватило сил даже на то, чтобы любезно улыбнуться; она ограничилась неловким кивком. Я же, поклонившись, боялся поднять глаза, чтобы дядюшка нечаянно не узнал того, что творилось в моей душе.

В душе? Если под этим словом понимать совокупность способностей, выделяющих и возвышающих человека над остальными животными, то я думаю, что лучше будет не компрометировать моей души в данном случае.

Хотя мне неизвестно, что всякая любовь в своей основе и представляет животное стремление полов к соединению, все же порой случается, что дружба и уважение облагораживают это чувство.

Увы! Моя страсть к Эмме осталась навсегда на ступени первобытного животного инстинкта; и если бы какому-нибудь Фрагонуру вздумалось увековечить нашу первую встречу и он решил бы в подражание XVIII веку украсить картину изображением Амура, то я посоветовал бы ему изобразить Эроса с козлиными ногами – Купидона-фавна без улыбки и без крыльев, – его колчан сделать из лыка, а стрелы из дерева и обагрить кровью; и назвать следовало бы этого бога любви, не стесняясь, Паном. Это единственный всемирный бог любви, дарящий наслаждение, не спрашивая у вас позволения, обольстительный порок, делающий вас отцами и матерями, чувственный властелин жизни, который относится с одинаковой заботливостью к вольному воздуху и к кабаньей берлоге, к прекрасному ложу и к собачьей конуре, тот самый, который толкнул нас друг к другу – мадемуазель Бурдише и меня, как двух шаловливых кроликов.

Существуют ли степени женственности? Если да, то я ни в одной женщине никогда в жизни не встречал большей женственности, чем в Эмме. Я не стану ее описывать, так как не видел в ней объекта, а только существо. Была ли она прекрасна? Несомненно. Возбуждала ли желание обладать ею? О, наверняка!

Все-таки цвет волос ее я запомнил: они были огненными, темно-красными – может быть, крашеными; перед моими глазами сейчас пронеслось ее тело и пробудило умершие желания. Она была прекрасно сложена и не имела ничего общего с этими тонкими, плоскими женскими фигурами, которые представляют так мало соблазна для мужчин, потому что любознательному взору не на чем отдохнуть. Платья Эммы вовсе и не стремились скрыть ее приятные округлости, и, наоборот, из вполне похвального стремления к истине она давала возможность убедиться, что природа наделила ее ими в двойном размере, что всегда стремятся продемонстрировать скульпторы и художники в пику портнихам.

Добавлю, что это очаровательное существо находилось тогда как раз в расцвете своей красоты и молодости.

Кровь прилила у меня к голове, и вдруг я почувствовал, что мною овладевает чувство бешеной ревности. Ей-богу, мне казалось, что я охотно отказался бы от этой женщины, лишь бы никто другой к ней не прикасался. Лерн, бывший мне до этого момента противным, сделался невыносимым. Теперь я твердо решил остаться – во что бы то ни стало.

Между тем разговор не завязывался – мы не знали, о чем говорить. Сбитый с толку внезапностью появления и желая скрыть свое смущение, я пробормотал, чтобы что-нибудь сказать:

– Видите ли, дядюшка, я как раз разглядывал эту фотографию...

– А, ну да! Я и мои помощники: Вильгельм, Карл, Иоганн. А это господин Макбелл, мой ученик. Очень удачно вышел – точно такой же, как в жизни, не правда ли, Эмма?

Он сунул карточку под нос своей протезе и теперь указывал на невысокого, изящного, стройного, гладко выбритого по американской моде молодого человека, опиравшегося на сенбернара.

– Красивый парень и остроумный, не так ли? – В голосе профессора прозвучала насмешка. – Сливки шотландского общества!

Эмма не шелохнулась, все еще пребывая в испуге, но все же, пусть и не без труда, смогла выдать из себя:

– Его Нелли была такая забавная – умела выделять всякие штуки, точно ученая собака из цирка.

– А Макбелл? – продолжал насмехаться дядюшка. – Он тоже был забавный, как повашему?

По задрожавшему подбородку Эммы я понял, что она вот-вот расплачется. Девушка прошептала:

– Бедный, несчастный Макбелл!..

– Да, – сказал дядюшка, отвечая на мой немой вопрос, – господин Донифан Макбелл вынужден был оставить свою службу вследствие чрезвычайно неприятных обстоятельств, о которых можно только пожалеть. Молюсь Богу, чтобы судьба уберегла от подобных неприятностей тебя, Николя.

– А это кто? – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. – Вот этот вот мсье с темными усами и бакенбардами.

– Он тоже уехал.

– Это доктор Клоц, – сказала подошедшая поближе и уже сумевшая взять себя в руки Эмма, – Отто Клоц. Вот он-то как раз...

Лерн бросил на нее взгляд столь грозный, что она тут же прикусила губу. Уж и не знаю, какое такое наказание предвещал этот взгляд, но бедняжку передернуло.

* * *

В этот момент Барб, с трудом протиснув в двери половину своей мощной фигуры, проворчала, что кушать подано.

Стол был накрыт лишь на троих, из чего я заключил, что немцы, вероятно, проживают в сером здании.

Обед прошел в угрюмом молчании. Мадемуазель Бурдише не проронила ни слова и ничего не ела, так что, уходя к себе, я не мог вывести никакого заключения о том, к какому кругу она принадлежит, потому что ужас обезличивает и уравнивает людей.

К тому же я едва держался на ногах от усталости. Как только подали десерт, я попросил разрешения удалиться в спальню, предупредив, чтобы меня не будили до следующего утра.

Войдя к себе в комнату, я немедленно стал раздеваться. Говоря по правде, путешествие, ночь, проведенная в лесу, и приключения этого утра довели меня до полного изнеможения. Все эти загадки изводили меня, во-первых, потому что это были загадки, а во-вторых, потому что они представлялись такими неясными; и мне казалось, что я брожу в каком-то тумане, в котором расплывчатые очертания сфинксов поворачивались ко мне неуловимыми лицами.

Я взялся за подтяжки, чтобы отстегнуть их... и не отстегнул.

В окно я увидел, как Лерн идет по саду в сопровождении своих трех помощников, направляясь к серому зданию.

Они идут туда работать, размышлял я, это не подлежит ни малейшему сомнению. За мной никто не следит; особых мер предосторожности еще не успели принять, тем более дядюшка убежден, что я сплю. Николя, сказал я себе, нужно действовать – сейчас или никогда! Но с чего начать? С Эммы? Или же с тайны? Хм... малышка сегодня здорово напугана. Что же касается тайны...

Снова надев пиджак, я принялся машинально ходить от окна к окну, не зная, на что решиться.

И тут сквозь вычурную решетку балкона я увидел громадную, расширенную оранжерею. Она была заперта, вход в нее был запрещен – и все же она притягивала меня своей таинственностью.

И я на цыпочках, стараясь производить как можно меньше шума, вышел.

Глава 3

Оранжерей

Когда я очутился во дворе, у меня было такое ощущение, точно за мной следят, и я бегом бросился в лесок, примыкавший к оранжерее. Потом, пробираясь сквозь густые заросли кустов, направился к входной двери этого здания.

Было очень жарко. Я с трудом двигался вперед, тщательно избегая царапин и могущего меня выдать шума. Наконец я увидел главный купол и одну из полукруглых сторон оранжереи: оказалось, что я подошел к ней сбоку. Я решил, что сначала стоит рассмотреть ее, не выходя из леска.

Прежде всего меня поразило, что за оранжереей, по-видимому, очень тщательно ухаживали: на устроенном вокруг тротуаре все до одной плитки были целы, на камнях цокольного фундамента – ни трещинки, ставни аккуратно пригнаны, все планки на своем месте, и сквозь отверстия решетчатых ставней виднелись стекла, ярко блестящие на солнце.

Я внимательно прислушался: ни звука не долетало ни со стороны замка, ни со стороны серого здания. В оранжерее тоже царила полная тишина. Слышен был только гул мошкеры, резвившейся в жарком воздухе этого летнего послеобеденного часа.

Тогда я решился. Подойдя вплотную к окну, я приоткрыл деревянный ставень и попытался разглядеть, что происходит внутри. Но я ничего не мог увидеть, потому что стекла были замазаны чем-то белым с внутренней стороны. Скорее всего, Лерн пользовался оранжереей не для того, для чего она была первоначально предназначена, а занимался в ней теперь совсем другим, а вовсе не выращиванием цветов. Мне показалось довольно правдоподобным предположение о микробах, которые потихоньку разрастаются в теплой тепличной атмосфере.

Я обошел стеклянный дом кругом. Всюду та же замазка мешала видеть, что делается внутри; мне показалось, что местами она была не так густо положена. Форточки, хотя и полуоткрытые, располагались так высоко от земли, что я не мог достать до них. Боковых входов не было, а сзади тоже нельзя было попасть в оранжерею.

Так как я все подвигался вперед, разглядывая кирпичи и столь же непроницаемые стекла, то скоро очутился напротив замка, со стороны моего балкона. Мое положение на открытой, незащищенной местности становилось опасным. Приходилось, несмотря на все старания, отправиться в свою комнату и оставить мысль об исследовании предполагаемого дворца микробов, не осмотрев его фасада. Поэтому я решил вернуться к себе, ограничив обзор фасада беглым взглядом, как вдруг неожиданно заметил, что разгадка сама дается мне в руки. Дверь была только прикрыта, а высунувшаяся во всю свою длину замочная задвижка указывала на то, что запиравший дверь думал, что закрыл ее на двойной оборот ключа. О Вильгельм! Милейший растяпа!

* * *

С первых шагов я должен был сознаться, что мои бактериологические гипотезы ошибочны. Я попал в помещение, напоенное ароматом цветов, – атмосфера была сырая и теплая, чуть-чуть пробивался запах никотина.

Я остановился на пороге, очарованный.

Ни одна оранжерея – даже королевская – не произвела бы на меня впечатления такой безумной роскоши, как эта. Очутившись в этом круглом здании среди дивных растений, я был поражен. Листья давали полную хроматическую гамму зеленого, на котором яркими пятнами

выделялись разноцветные фрукты и цветы; все это было великолепно расставлено этажами по подымавшимся до самого купола подставкам.

Но глаза постепенно привыкали к этому необыкновенному зрелищу, и мой восторг понемногу стихал. Конечно, этот зимний сад произвел на меня такое сильное впечатление, потому что состоял из необыкновенно редких растений, так как особенной гармонии в их расстановке не замечалось. Растения были расставлены по ранжиру, а не по законам изящества и вкуса, как если бы попечение о рае поручили жандарму: они были распределены по видам, горшки стояли как солдаты, на каждом имелась этикетка, что указывало скорее на руку ботаника, чем садовника; вообще, во всем проявлялось больше знания, чем вкуса. Эти соображения заставили меня призадуматься. Впрочем, неужели можно было допустить хотя бы на минуту, что Лерн станет заниматься садоводством для удовольствия?

Продолжая осмотр, я с восторгом разглядывал чудесные растения, хотя по своему невежеству не мог бы даже сказать, как они называются. Я все же машинально попробовал кое-что припомнить, и тогда все это редкостное великолепие предстало передо мной в настоящем свете...

Не веря своим глазам и охваченный лихорадочным любопытством, я стал внимательно разглядывать кактус – несмотря на свое невежество, я все же узнал его... Но меня сбивал с толку его красный цветок... Я тщательно пригляделся к нему – и мое смущение только усилилось...

Но сомнений не осталось: этот цветок, поразивший меня своим видом, был цветком герани.

Я перешел к соседнему растению: из земли поднимались три бамбуковых стебля, и окончания их были украшены, как капителями, тремя цветками далии.

Почти напуганный этим, задышавшись от непривычных ароматов, я беспомощно оглядывался кругом, и тут я понял причину противоестественной пестроты.

Там одновременно царили весна, лето и осень, а зиму Лерн, должно быть, исключил, и собраны там были все растения, цветы и плоды, но ни один из них не расцвел, не созрел на своем родном кусте или дереве.

Целая колония васильков украшала отрешившийся от своего предназначения куст шток-розы, превратившийся благодаря им в голубой тирс. Ветви араукарий были густо усеяны темно-синими колокольчиками горечавки. А на длинных змеевидных стеблях камелий, росших на шпалерах, красовались пестрые тюльпаны.

Напротив входной двери, у самой застекленной стены, почти вплотную друг к другу стояли деревца. Одно из них, выделявшееся из общей массы, привлекло мое внимание. На нем висело несколько груш, между тем это было апельсинное дерево. Сзади него по решетке гирляндами вились виноградные лозы, которым не стыдно было бы вырасти и в Ханаане; гигантские гроздья состояли из слив на одной лозе и рябины – на другой.

Затем, на ветвях миниатюрного дуба, рядом с самостоятельно выросшими желудями, можно было увидеть вишни – на одной ветке, а на другой – орехи. Одна ягода не удалась: не получилось ни вишни, ни ореха, а образовалась чудовищная и отвратительная шероховатая опухоль, испещренная розоватыми жилками.

На ели вместо смолистых шишек росли каштаны и лучистые астры, но самый большой контраст составляли золотистый шар апельсина – солнце восточных фруктовых садов – и кизил, который производил впечатление посмертного плода погибшего дерева.

Дальше были сгруппированы более законченные чудеса. Славный Демустье написал бы, что Флора здесь гуляет под руку с Помоной. Большая часть основных растений была мне незнакома, и я запомнил только те, названия которых известны всем и каждому. Я, как сейчас, вижу удивительную вербу, на которой выросли гортензии, мак, персики и земляника. Но все-таки

самым красивым из этих ублюдков был восхитительный розовый куст, на котором пышно расцвели китайские астры вперемешку с мелкими китайскими яблочками.

В самом центре круглого здания стоял куст с ветвями остролиста, липы и тополя; раздвинув ветви, я имел возможность убедиться, что все они растут на одном и том же стволе.

Это было триумфом искусства прививки, которое Лерн за пятнадцать лет превратил в настоящее чудо, внушавшее, правда, чувство некоторого беспокойства. Когда человек вмешивается в творчество природы, он создает нечто чудовищное. Меня охватила тревога.

«По какому праву он вмешивается в мироздание? – думал я. – Разве допустимо нарушать законы жизни в такой мере? Разве эта святотатственная игра не является преступным оскорблением Природы? И ладно бы эти противоестественные растения радовали изысканный вкус!.. Так нет же – это всего-навсего какие-то нелепые соединения, не представляющие, в сущности, ничего нового – своего рода растительные химеры, цветочные фавны, ни то ни се... Честное слово, сколь бы ни была привлекательна эта задача, она в любом случае нечестива, и точка!»

Но как бы то ни было, чтобы добиться таких результатов, профессор должен был потратить бездну времени и труда. Эта коллекция служила тому доказательством, да, кроме того, тут же находились и другие свидетельства кропотливой работы: я заметил на столе массу скляночек и не меньшее количество ножей и садовых инструментов; все это блестело и сверкало, как хирургический набор. Эта находка заставила меня внимательнее присмотреться к цветам, и мне их стало жалко.

Все они были замазаны разного рода клеем, на них были наложены повязки – чуть ли не хирургические, они были испещрены рубцами – почти ранами, из которых сочилась какая-то сомнительного цвета жидкость.

На коре апельсинового дерева был глубокий надрез. Он имел форму глаза; из этого глаза медленно лились слезы. Я стал нервничать... Трудно поверить, что меня охватила странная жуть при взгляде на оперированный дуб... из-за вишен... они производили на меня впечатление стустков крови... Две созревшие вишни упали к моим ногам, прошумев, как капли начинающегося дождя.

Я почувствовал, что лишился хладнокровия, необходимого, чтобы приглядеться к этикеткам. Я разобрал только несколько и заметил, что Лерн исписал их невразумительными французско-немецкими названиями, с многочисленными поправками.

Продолжая внимательно прислушиваться, я обхватил голову руками и дал себе несколько минут передышки, чтобы собраться с духом, – затем открыл дверь в правое крыло.

* * *

Передо мной оказалась небольшая галерея. Стеклопанная крыша смягчала дневной свет, доводя его до голубоватых сумерек. Воздух был удивительно свежий. Пол был вымощен плитой.

В этой комнате находились три аквариума, три больших ящика из хрусталя, до того прозрачного, что казалось, будто вода сама по себе удерживает форму трех геометрически правильных параллелепипедов.

В двух боковых аквариумах помещались морские растения. Они мало отличались одно от другого на первый взгляд. Но в круглом здании я мог убедиться, с какою тщательностью Лерн все распределял по группам, и поэтому я не допускал мысли, чтобы он поместил в двух разных емкостях совершенно одинаковые растения.

Оба аквариума являли один и тот же подводный пейзаж. Справа, как и слева, коралловые разрастания самых разнообразных оттенков покрывали маленькие утесы своими окаменелыми ветвями; песочная почва была усеяна морскими звездами, похожими на эдельвейсы; там и сям валялись пучки меловых палочек, на конце которых распускалось что-то мясистое,

напоминающее хризантемы, желтого и фиолетового цвета. Мне трудно описать массу других венчиков, которые там находились; некоторые были похожи на маслянистые, восковые или желатинные чашечки; большая часть была очень неопределенного цвета и неясной формы, а сплошь и рядом они казались просто оттенком воды.

Из крапов, находившихся внутри аквариумов, вырывались тысячи пузырьков, и их шумные жемчужины пробирались сквозь ветви кораллов, перед тем как достигнуть поверхности воды и там лопнуть. При виде их можно было подумать, что этот подводный садик нуждался в поливке воздухом.

Собрав все свои гимназические воспоминания, я решил, что оба собрания – различающиеся только деталями – состояли исключительно из полипов, таких странных существ, как, например, кораллы или губки, которым натуралисты отводят место между растениями и животными.

Двусмысленность их положения всегда вызывает интерес. Я постучал пальцем в левое стекло.

Немедленно зашевелилось что-то неожиданное, напоминавшее опаловый стаканчик венецианского стекла, который сохранил свою тягучесть; что-то пурпуровое двинулось ему навстречу: это были две медузы. Но мой стук вызвал и другие движения. Актинии, напоминая желтые или сиреневые помпончики, втягивались в свои известковые трубочки и снова распускались, ритмично пульсируя; лучи морских звезд и иглы морских ежей лениво пошевеливались; заплывала какая-то живность, серая, алая, шафранного цвета, и, точно в водовороте, весь аквариум взволновался.

Я постучал в правый аквариум. Ничего не зашевелилось.

Было совершенно ясно: это разделение существ на две группы давало мне возможность легче усвоить себе ту разницу, которая в них заложена, ту, которая, соединяя животное с растением, роднит человека с травой. Эти существа были подобраны так, что находившиеся в левом аквариуме – активные – были на нижней ступени лестницы; находившиеся в правом – неподвижные – были на верхней ступени: одни начинали становиться животными, другие заканчивали быть растениями.

Итак, воображаемая бездна, которая, казалось бы, разделяет эти две противоположности, сводится к незначительным, почти незаметным изменениям в структуре, к различию, которое бросается в глаза меньше, чем несходство волка с лисицей, а между тем ведь они двойники, братья.

И вот эту минимальную величину, это различие, которое создавало между ними, по твердому убеждению всех без исключения ученых, непроницаемую стену, потому что оно отделяло неподвижность от произвольного движения, Лерн уничтожил.

В бассейне, стоявшем в глубине, обе породы были привиты одна к другой. Я заметил там студенистый листочек, привитый к подвижной ножке, – и теперь листочек тоже двигался самостоятельно. Привитые приобретали свойства тех растений, к которым их прививали: неподвижные, всасывая живительный сок, начинали двигаться, а деятельность двигавшихся парализовалась от проникновения в них сока неподвижных.

Я бы охотно подробно осмотрел все применения этого нового принципа, но какая-то медуза, прикрепленная чуть не сотней повязок к морской водоросли, стала отчаянно биться о стекло, и я отвернулся с отвращением. Эта последняя стадия прививок, сопряженная с такими мучениями, была, на мой взгляд, лишним доказательством профанации, и я стал искать в голубых сумерках другое, менее тяжелое зрелище.

Инструменты и препараты профессора были разложены в строгом порядке. На этажерке была расставлена целая аптека. На четырех столах, сделанных из стекла, стоявших между аквариумами, расположились орудия пытки: ножички и пинцеты.

Нет! Лерн не имел права! Это было так же гнусно, как убийство, даже хуже! В этих отвратительных опытах над девственной Природой проявлялись одновременно и ужас убийства, и мерзость насилия.

Когда я весь кипел от праведного гнева, раздался шум – я услышал стук.

Убежден: после смерти, в аду, мне не придумают более нестерпимого мучения, чем этот пустячный шум, будто от ударов небольшим молоточком по чему-то твердому.

На долю секунды мне показалось, что все мои нервы обнажились. Кто-то стучал!

Одним прыжком я очутился в круглом здании; лицо мое было, должно быть, ужасно, потому что инстинктивно, из боязни встретиться с врагом, я придал ему страшное выражение.

На пороге – никого. И в парке – тоже. Я вернулся обратно.

Шум возобновился... Он доносился из не исследованного еще крыла здания... Потеряв голову, я бросился туда, не отдавая себе отчета в безрассудстве своего поступка, рискуя столкнуться лицом к лицу с опасностью; я был до того возбужден, что стукнулся головой о дверь, открывая ее с разбега.

* * *

До этого припадка довело меня состояние моих нервов и безумная усталость; и до сегодняшнего дня я не могу решить вопроса, не галлюцинировал ли я и не казались ли мне предметы более странными, чем они были на самом деле.

В третьем зале все было залито ярким светом, и благодаря этому мои подозрения о присутствии постороннего человека рассеялись. На конторке я увидел клетку, которая вертелась во все стороны из-за отчаянно метавшейся в ней крысы. Когда крыса подпрыгивала, вместе с ней подпрыгивала и западня – вот причина стука. Увидев меня, грызун остановился. Я не обратил внимания на это обстоятельство.

В этом зале было меньше порядка, чем в предыдущих; он производил впечатление теплицы, за которой ухаживали не особенно тщательно. Но разбросанные в беспорядке, перепачканные полотенца, невытертые ланцеты, неопорожненные пробирки – все это указывало на неоконченную работу, которая была временно приостановлена, и могло служить оправданием некоторой неряшливости.

Я возобновил расследование.

Первые два свидетеля, попавшиеся мне на глаза, дали мне немного материала. Это оказались два скромных растения, мирно стоявшие в своих фаянсовых горшках. Я позабыл их латинские названия, оканчивавшиеся на – um или на – us, о чем теперь жалею, потому что они придали бы моему рассказу больше авторитетности и научности. Но кому могло бы прийти в голову запоминать латинские названия шильника или кроличьего уха?

Правда, первый был необычайно длинным и стройным. Что же касается второго, то он ничем не выделялся и, подобно всем своим сородичам, довольно недурно имитировал – очень удачная подделка, которой они обязаны своим названием, – дюжину ушных раковин. Два его пушистых, серебристого цвета листика, точно так же как и один из стеблей шильника, украшали браслеты-бандажи из белого полотна, на которых местами были видны темные пятна (по видимому, от смолы).

Я вздохнул с облегчением.

«Прекрасно! – сказал я себе. – Лерн сделал им прививки. Это всего-навсего повторение того, что я *уже* обнаружил, вернее, один из первых опытов, робкий и простой, даже, если не ошибаюсь, неудачный. Чтобы проследить его опыт последовательно, мне стоило начать отсюда, затем перейти в рай, располагающийся в центре, и закончить полипами. Покорнейше благодарю! Слава богу, худшее я уже видел».

Так я думал, как вдруг заметил, что стебель шильника начал извиваться, как червяк.

В то же время за конторкой подпрыгнула какая-то масса серого с отливом цвета, чем выдавала свое присутствие. Там, в луже крови, лежал серебристо-серый кролик. Он только что издох, и на месте, где должны были находиться его уши, у него были две кровавые дыры.

Предчувствие истины заставило меня облиться холодным потом. Тогда я решился прикоснуться к пушистому растению. Ощупав оба перевязанных листика, которые были так похожи на уши, я почувствовал, что они теплые на ощупь и трепещут.

Чувство ужаса отбросило меня к конторке. Судорожно сжатая от отвращения рука отталкивала от себя воспоминание о прикосновении, точно я дотронулся до какого-то омерзительного паука; с размаху я толкнул рукой крысоловку, и она упала.

Перепуганная крыса снова запрыгала в клетке, бросаясь на прутья, кусала их и завертелась, точно одержимая бесом... Мои вылезавшие из орбит глаза беспрестанно переходили с шильника на млекопитающее, с этого все время извивавшегося, словно тоненький черный уж, стебля на крысу, у которой больше не было хвоста.

Ее рана зажила, но, как след другого опыта, за несчастной крысой тащился остаток развязавшегося от ее прыжков пояса, которым был привязан вставленный в ее изрезанный бок зеленый отросток.

Впрочем, этот отросток показался мне обесцвеченным. Значит, Лерн не ограничился тем, что я видел. Он шел все дальше по пути опытов. Теперь он скрещивал между собой животных высшего порядка и растения... Дядюшка, который одновременно вырос и низко пал в моих глазах, внушал мне теперь отвращение и трепет, словно злой дух.

Но все же его произведения вызывали скорее омерзение, нежели уважение, и мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы заставить себя продолжить осмотр их.

А они стоили этого даже в том случае, если бы оказались фантомами. То, что ожидало меня дальше, превосходило кошмары сумасшедшего. Конечно, это было ужасно, но нашлись и смешные стороны: это было нечто шуточно-зловещее.

Кто из пациентов был ужаснее в этом отношении? Морская свинка, лягушка или кустарник?

Морская свинка, если быть справедливым, может быть, и не представляла собой ничего особенно замечательного. Весьма возможно, что ее шкурка была так травянисто-зелена из-за отражения всех этих растений. Вполне допустимо.

Но лягушка? А кустарники? Что подумать о ней и о них?

Она, эта зеленая лягушка, с ее четырьмя лапками, вкопанными в чернозем, с безучастным и угрюмым видом, с опущенными веками была посажена в горшок, как растение, выросшее в землю корнями.

Кустарники – финиковые пальмы. Сначала они не шевелились. Затем – я готов поклясться, что никакого ветра не было, – они задвигались во всех направлениях. Их широкие листья раскачивались очень медленно... и мне даже показалось, что я слышу... но в этом я не могу поклясться. Да, стебли раскачивались, причем листья сближались и расходились при каждом движении; вдруг они схватились друг за друга своими широкими зелеными пальцами и конвульсивно обнялись – в бешенстве или в припадке страсти, для борьбы или любовных объятий, почем знать?

Ведь движение одно и то же как в том, так и в другом случае.

Рядом с лягушкой стоял белый фарфоровый сосуд, наполненный бесцветной жидкостью, в которой торчал шприц Плевака. Около кустарника находился такой же шприц и такой же сосуд, но в нем была запекшаяся жидкость темно-красного цвета. Я решил, что в первом сосуде находился древесный сок, а во втором – кровь.

Листья пальмы разошлись в разные стороны, я протянул к ним свою дрожащую руку и под мягкой и теплой поверхностью стебля почувствовал легкие удары, ритмично повторявшиеся, как удары пульса...

Впоследствии мне часто приходилось слышать, что можно чувствовать удары собственного пульса, пробуя сосчитать чужой, и весьма вероятно, что мое лихорадочное состояние могло усилить сердцебиение; но в тот-то момент разве я мог сомневаться в своих ощущениях?!.. Тем более что продолжение этой истории не только не возбуждает сомнений в правильности моих выводов, скорее наоборот – подтверждает самые смелые предположения. Я не знаю, служат ли сила и ясность воспоминаний в сомнительных случаях галлюцинаций доказательством заболевания или наоборот; я-то по крайней мере совершенно ясно и точно помню картину этого уродства, появившегося на фоне разбросанных в беспорядке полотенец, салфеток, бинтов и сосудов, при блеске лежавших тут и там стальных инструментов.

Больше не на что было смотреть. Я обыскал все углы. Нет, не на что. Я проследил шаг за шагом все стадии работы моего дядюшки и по странному, счастливому стечению обстоятельств в том порядке, в котором было необходимо, чтобы нарисовать себе стройную картину его успехов.

* * *

Я без помех вернулся в замок и пробрался к себе в комнату. Там силы, поддерживавшие нервным возбуждением, покинули меня. Раздеваясь, я старался, хотя это мне не удавалось, мысленно восстановить этапы моего приключения. Все это уже начинало казаться мне отвратительным сном, и я не верил сам себе. Разве растительное царство могло смешиваться с животным? Что за чепуха! Если даже существуют полипы-растения и полипы-животные, то все же что общего, например, у обыкновенного животного с обыкновенным растением? Тут я почувствовал жгучую боль в большом пальце правой руки: я увидел маленькое беленькое пятнышко, окруженное порозовевшей опухолью. Должно быть, пробираясь по лесу, я укололся обо что-то. Я не мог решить, было ли это местью крапивы или муравья, и вспомнил, что, даже сделав микроскопический и химический анализ, я не мог бы вывести никакого заключения – до того их уколы и кислоты, выделяемые ими, тождественны. Этот факт напомнил мне о точках соприкосновения между этими двумя мирами; и так как успехи моего дядюшки лишили меня повода отрицать возможность достижения результата, то я стал размышлять дальше:

«В конце концов, Лерн попытался соединить растительное и животное царство и заставил их обменяться своими жизненными силами. Его попытка, несомненно прогрессивного характера, удалась. Но являются ли его опыты целью или средством? К чему он стремится? Я не вижу, какую пользу могут принести его опыты на практике. Следовательно, это не конечный результат его работ. Скажу больше – мне кажется, что последовательность его опытов указывает на стремление к какой-то более совершенной цели, которую я смутно подозреваю, не умея определить ее. Моя голова раскалывается от мигрени. Может быть, профессор ведет и другие исследования, знакомство с которыми разъясняет конечную цель?.. Ну, постараемся рассуждать логически. С одной стороны – Создатель, как я устал! – с другой стороны, я видел растения, привитые друг к другу; с другой стороны, дядюшка начинает смешивать растения с животными... Нет, я отказываюсь».

Мой утомленный мозг отказывался от дальнейших рассуждений. Я смутно почувствовал, что в этих экспериментах пропущено некое звено, или же оно помещается не в оранжерее. Мои веки отяжелели. Чем старательнее я строил посылки и выводил заключения, тем больше я запутывался. Ночное видение, серые здания, наконец, Эмма рассеивали мое внимание, вызывая страх, любопытство, желания; словом, вряд ли на какой-нибудь другой подушке покоилась голова, наполненная такой галиматей.

Загадка!

Да, безусловно: загадка! И однако же, хотя меня по-прежнему окружали сфинксы, в рассеявшемся теперь тумане я различал их лица уже более отчетливо. И так как у одного из этих сфинксов было милое личико и грудь молодой женщины, я заснул с улыбкой на устах.

Глава 4

Жара и холод

Спящий хлеба не просит. Я проспал до следующего утра.

А между тем никогда я еще не отдыхал так плохо. Воспоминание о целом дне тряски в автомобиле тревожило мой покой; и во сне я продолжал чувствовать толчки и крутые повороты. Потом меня посетил целый мир сказочных чудес: Броселианд, как лес у Шекспира, вдруг пришел в движение, причем большая часть деревьев шествовала попарно, обнявшись; береза, напоминавшая копье, сказала мне речь по-немецки, а я с трудом мог расслышать, что она говорит, потому что кругом пели цветы, растения упорно и настойчиво лаяли, а большие деревья от времени до времени рычали.

Когда я проснулся, я продолжал слышать всю эту какофонию наяву, точно в фонографе, и страшно рассердился на себя за то, что не исследовал поподробнее оранжерею; мне казалось, что более тщательный и, главное, хладнокровный осмотр дал бы мне более ценные данные. Я сурово корил себя за вчерашнюю торопливость и свое нервничанье... А почему не попытаться исправить ошибку? Может быть, еще не слишком поздно...

Заложив руки за спину, с папироской в зубах, я отправился прогуляться и словно невзначай прошел мимо входа в оранжерею.

Дверь оказалась запертой.

Выходит, я упустил единственный случай все разузнать – да, я чувствовал, что больше такой возможности может не представиться. Вот же трус, трус!

Чтобы не возбуждать подозрений, я миновал это запретное место, даже не замедлив шага, и теперь шел по аллее, ведущей к серым зданиям. В покрывавшей аллею траве была заметна протоптанная тропинка, указывавшая на то, что ею пользуются часто.

Пройдя несколько шагов, я увидел шедшего мне навстречу дядюшку. Не подлежало никакому сомнению, что он подстерегал меня. У него был очень радостный вид. Когда его выцветшее лицо улыбалось, он больше походил на себя в молодости. Это приветливое выражение успокоило меня: значит, моя шалость прошла незамеченной.

– Ну что, милый племянник, – сказал он почти дружелюбно, – готов держать пари, что ты уже и сам убедился – место не из веселых... Вскоре будешь сыт по горло своими сентиментальными прогулками по дну этой кастрюли.

– Что вы, дядюшка! Я всегда любил Фонваль не за его местоположение, а как любят почтенного друга, ну, или предка, если хотите. Фонваль для меня – словно член семьи. Вы и сами знаете, что я часто играл на его лужайках, прятался в кустах – для меня это точно дедушка, качавший меня в детстве на коленях, почти как... – я решил прибегнуть к лести, – почти как вы, дядюшка!

– Да-да, – уклончиво пробормотал Лерн. – И все равно Фонваль тебе быстро надоест.

– Ошибаетесь. Уверяю вас, фонвальский парк – мой земной рай!

– Ты совершенно прав: так оно и есть, – подтвердил он, рассмеявшись. – И запретные плоды растут прямо на его территории. На каждом шагу ты будешь наталкиваться на древо жизни и древо познания, к которым не должен прикасаться. Это опасно. На твоём месте я бы почаще выезжал в этой твоей механической коляске. Ах, будь такая в распоряжении Адама!..

– Но, дядюшка, ведь за воротами лабиринт...

– Что ж, – весело воскликнул профессор, – я буду сопровождать тебя и показывать дорогу. К тому же было бы любопытно взглянуть, как функционирует одна из машин... как их там...

– Они называются автомобили, дядюшка.

– Ну да, автомобили. – Его немецкий акцент придавал этому слову, и без того не слишком короткому, широту, тяжесть, неподвижность собора.

Мы шли бок о бок к сараю. Бесспорно, дядюшка, скрепя сердце решив примириться с моим вторжением, был мило настроен. Тем не менее чем дольше держалось его хорошее настроение, тем больше оно меня злило. У моих дерзких планов становилось меньше оправданий. Может быть, я совершенно отказался бы от них, если бы не влечение к Эмме, которое толкало меня поступать назло ее деспотическому тюремщику. А кроме того, был ли он искренен? И не для того ли, чтобы побудить меня сдержать данное слово, он сказал мне, подходя к импровизированному гаражу:

– Николя, я много думал обо всей этой ситуации и пришел к заключению, что ты и в самом деле мог бы принести в будущем пользу, так что хочу узнать тебя получше. Раз ты собираешься пробыть здесь несколько дней, мы будем часто беседовать. По утрам я не слишком занят – будем проводить время вместе, гулять пешком или выезжать в твоей коляске и знакомиться друг с другом. Только не забывай о данных мне обещаниях.

Я молча кивнул.

«В конце концов, – подумал я, – кажется, он и впрямь намерен когда-нибудь обнародовать результаты своих исследований. Возможно, он преследует благую цель, даже если средства ее достижения несколько сомнительны. Наверное, он только их и хочет скрыть, пока не добьется чего-либо конкретного: рассчитывает, что блеск открытия оправдает варварство его методов и вынудит общество закрыть на них глаза... Лишь бы только конечный результат оправдал эти методы и о них никто никогда не узнал. С другой стороны, может, Лерн и в самом деле боится конкуренции? Возможно же и такое, почему нет?»

Все это я передумал в то время, как перелил в бак моей милой машины канистру бензина, которая по счастливой случайности оказалась у меня в запасе.

Лерн сел рядом со мной. Он указал мне прямую дорогу, проложенную вдоль одного из утесов ущелья, замаскированную ложными поперечными дорожками. Сначала я удивился, что дядюшка открыл мне этот короткий путь, но, взвесив все обстоятельства, я подумал, что ведь этим самым он указывает, как мне скорее уехать отсюда. А разве это не было его самым заветным желанием!

Милейший дядюшка! Из-за своего замкнутого, целиком сосредоточенного на ученых занятиях образа жизни он проявлял трогательное невежество в области автомобилизма. Положим, все ученые относятся так к тому, что прямо не касается узкой сферы их интересов. Мой физиолог был младенцем в области механики. Хорошо еще, что он имел самое общее представление о принципах этого удобного, бесшумного и быстрого способа передвижения, которым он восторгался.

На опушке леса он сказал:

– Остановимся здесь, если ты не против. Объясни мне принцип работы этой машины – она просто чудесная. Дальше этого места я не выбираюсь – я уже старый безумец. Дальше, если пожелаешь, поедешь потом один.

Я начал объяснения, демонстрируя машину. При этом я заметил, что клаксон пострадал незначительно и что поправить его ничего не стоило. Два винтика и кусок железной проволоки вернули ему оглушительный голос. Лерн, слушая клаксон, проявлял признаки наивного восторга. Я стал продолжать свою лекцию, и дядюшка, по мере того как я говорил, слушал все увлеченнее.

И в самом деле, автомобили вполне заслуживают самого серьезного интереса. Если в течение трех последних лет моторы изменились мало, то остальные части автомобиля и материал, из которого он изготовлен, были значительно усовершенствованы. Для постройки, например, моей машины, весь груз которой заключался в запасных баках с бензином, не было употреблено ни кусочка дерева. Моя восьмидесятисильная машина представляла собой заме-

чательную мастерскую для поглощения пространства, построенную целиком из меди, стали, никеля и алюминия. Великое изобретение нашей эпохи было к ней применено; я говорю о том, что она покоилась не на пневматических, а на рессорных колесах, удивительно эластичных. Сегодня это кажется обыденным явлением, но еще совсем недавно это новшество возбуждало всеобщее изумление.

Но самым замечательным в моей машине было, на мой взгляд, то усовершенствование, которого конструкторы добились настолько постепенно, что никто и не замечает, как оно из дня в день становится все более востребованным, а именно – автоматизм.

Первая «коляска без лошадей» была загромождена рычагами, педалями, рукоятками и воланами, необходимыми, чтобы управлять ею; кранами и аппаратами для смазывания, без которых мотор не мог работать. Но с каждым новым поколением автомобилей они все больше и больше упрощались. Мало-помалу исчезли все рукоятки, требовавшие постоянного и многообразного вмешательства человека. В наши дни органы автомобиля сделались автоматическими и механизм регулируется механизмом. Теперь шофер, в сущности говоря, кормчий: раз машина пущена в ход, она сама влечет себя вперед; разбуженная, она снова заснет только по приказанию. Словом, как заметил Лерн, современный автомобиль обладает всеми свойствами спинного мозга: инстинктом и рефлексам. В нем происходят произвольные движения наряду с движениями, вызванными разумом проводника, который становится, так сказать, мозгом автомобиля. Из этого центра идут распоряжения желаемого маневрирования, которые передаются по металлическим нервам – стальным мускулам.

– К тому же, – добавил дядюшка, – сходство между этой коляской и позвоночным животным просто потрясающее.

Тут Лерн вступал в свою знакомую область. Я весь обратился в слух. Он продолжал:

– Мы уже нашли нервную и мышечную систему – их представляют рычаги управления, передачи и ускорения. Но, Николя, разве шасси не уподобляется скелету человека, к которому болты прикрепляются так же, как сухожилия... Жизненная сила, кровь – это бензин, циркулирующий по медным артериям... Карбюратор дышит – это легкое: вместо того чтобы снабжать кровь кислородом, он распыляет эссенцию, вот и все... Капот похож на грудную клетку, в которой ритмично бьется сердце... Наши сочленения так же помещаются в жидкости, как и машинные в масле... А вот и защищенные крышкой-кожей резервуары, так же требующие пищи и насыщающиеся, как и желудок... Вот фосфоресцирующие, как у диких зверей, но *пока еще* не обладающие даром зрения глаза-фары; клаксон – это голос; вот выводная трубка, которую я, пожалуй, не буду ни с чем сравнивать, чтобы не задеть твоих чувств... Словом, чтобы сделаться большим, глухим, бесчувственным и бесплодным зверем, лишенным вкуса и обоняния, твоей машине недостает только мозга, роль которого порой исполняет твой.

– Настоящий музей увечий и недугов! – заметил я, расхохотавшись.

– Хм, – пробормотал Лерн. – Автомобиль, кстати, приспособлен лучше нас. Подумай об этой воде, которая охлаждает его: какое прекрасное средство от лихорадки... А сколько лет может держаться такая оболочка, если организовать за ней надлежащий уход, – ее ведь можно чинить без конца... Автомобиль всегда можно вылечить; разве ты только что не вернул голос его глотке? С такой же легкостью ты мог бы заменить и его глаза.

Профессор распалялся все больше и больше.

– Это могучее и грозное тело! – воскликнул он. – Но тело, которое позволяет себя надеть; это доспехи, обладатель которых чувствует себя защищенным; это броня, увеличивающая силу и быстроту. Да что там говорить – в этой броне вы словно марсиане Уэллса в их треножных цилиндрах; вы теперь – головной мозг какого-то искусственного, колоссального монстра!

– В сущности, дядюшка, все машины такими являются.

– Нет! Не в столь полной мере. За исключением внешнего вида – которому и близко не соответствует ни одно животное, – автомобиль представляет собой самый удачный из всех

автоматов. Он точнее сделан по нашему подобию, чем любой похожий на живых людей заводной манекен Мельцеля или Вокансона, потому что те под человеческой оболочкой скрывают заводную куклу, с которой нельзя поставить на одну доску даже организм улитки. Тогда как автомобиль...

Он отошел на несколько шагов и, окинув машину нежным взглядом, воскликнул:

– Восхитительное создание! До чего же велик человеческий гений!

«Да, – подумал я, – в акте творения кроется совсем иная красота, чем в твоих зловещих смещениях живого тела и плоти с бесчувственным деревом. Но в любом случае хорошо уже то, что ты готов это признать!»

* * *

Хотя было уже довольно поздно, я все же поехал в Грей-л'Аббей, чтобы пополнить запасы бензина, и хотя Лерн и был большим рутинером, но он до того увлекся автомобилем, что решился переступить через традиционную границу своих прогулок и сопровождал меня.

Затем мы направились обратно в Фонваль.

Дядюшка, увлекшись, как всякий новичок, все время нагибался вперед и ощупывал железную крышку мотора, потом он разобрал автоматическую масленку. В то же время он задавал мне бездну вопросов, и мне пришлось посвятить его во все мельчайшие подробности устройства моей машины; все это он усваивал с невероятной быстротой и точностью.

– Слушай, Николя, включи-ка клаксон... Теперь скинь скорость... остановись... поезжай снова... быстрее... Довольно! Притормози... теперь задний ход... Стой!.. Право же, это просто поразительно!

Он смеялся от восторга, вечно надутое лицо похорошело. Любой, кто увидел бы нас, принял бы за двух задушевных друзей. Возможно, в тот момент мы таковыми и были... Я уже предвкушал тот час, когда благодаря моему авто с ковшеобразными сиденьями Лерн, быть может, откроет мне свои тайны.

Он сохранил свое прекрасное расположение духа до самого приезда в замок; соседство таинственных зданий несколько его не смущало; настроение его переменялось только тогда, когда он вошел в столовую. Тут Лерн вдруг нахмурился: появилась Эмма. Мне показалось, будто муж тетушки Лидивины испарился вместе с дядюшкиной улыбкой, а его место занял старый сварливый профессор, недовольный нашим присутствием. Тогда я почувствовал, как мало значат для него все его будущие открытия в сравнении с этой очаровательной женщиной, и если он стремился к славе и богатству, то только для того, чтобы иметь возможность удержать ее около себя.

Наверное, он ее любил такой же любовью, как и я: как испытывают голод и жажду – голод кожи и жажду тела. Он был скорее гурман, я же был голоднее – вот и вся разница между нами.

Да ну же, будем откровенны! Вы, Эльвира, вы, Беатриче, идеальные возлюбленные; сначала вы внушали лишь страсть. До того как писать в вашу честь стихи, вас просто желали, без всякой литературы, как... к чему искать лицемерные метафоры – как чечевичную похлебку или стакан чистой воды... Но для вас создали гармоничные рифмы, потому что вы сумели сделаться обожаемыми подругами, и с тех пор вас окружили этой утонченной нежностью, которая является вершиной нашего чувства, нашей восхитительной поправкой творения. Конечно, Лерн прав: человеческий гений велик. Но любовь человека доказывает это гораздо лучше, чем построенные им машины. Любовь – это очаровательно двойственный цветок, лучшая и самая удачная прививка сада нашей души, тонко сделанная и благоухающая искусно смягченным ароматом.

Вот... Но мы с Лерном увлеклись не таким цветком, а тем простым и безыскусственным, который является аллегорическим изображением продолжения рода человеческого. Един-

ственная причина его существования – это плод, который он готовит. Его резкий, опьянявший нас запах был благовонным ядом, напоенным сладострастием и ревностью, в которой чувствуешь меньше любви к женщине, чем ненависти ко всем остальным мужчинам.

* * *

Барб приходила и уходила, прислуживая за столом черт знает как. Мы все молчали. Я избегал смотреть на очаровательную Эмму, убежденный, что мои взгляды были бы до того похожи на поцелуи, что это не могло бы укрыться от дядюшкиных глаз.

Она была теперь совершенно спокойна и рисовалась своим равнодушием; опершись голыми локтями на стол, положив голову на руки, она рассматривала в окно пастбище, на котором мычали коровы.

Мне хотелось бы по крайней мере смотреть на то же, на что смотрела моя возлюбленная; это сентиментальное общение на расстоянии утишило бы, как мне казалось, мое низменное стремление к более интимным встречам.

К несчастью, из моего окна не было видно пастбища, и мои глаза, блуждая без определенной цели, все время, помимо моей воли, останавливались на ее белых голых руках и колышущемся корсаже, трепетавшем сильнее, чем следовало бы.

Сильнее, чем следовало бы!

В то время как я объяснял это явление в свою пользу, Лерн в угрюмом молчании встал из-за стола.

Отодвинувшись, чтобы пропустить Эмму, которая, проходя, слегка задела меня, я почувствовал, что она вся дрожит; ноздри ее носа трепетали. Меня охватил прилив неудержимой радости. Разве можно было еще сомневаться, что я задел какие-то струны ее души?

Когда мы проходили мимо окна, Лерн похлопал меня по плечу и тихо произнес дрожащим от сдерживаемого смеха голосом – думаю, так в свое время говорили сатиры:

– Ха! Юпитер снова принялся за свое.

И он указал на быка, стоявшего посреди пастбища в возбужденном состоянии в окружении своего гарема.

* * *

В гостиной к дядюшке опять вернулось его отвратительное настроение. Он приказал Эмме отправиться в свою комнату, а мне, дав несколько книжек, категоричным тоном посоветовал пойти почитать в тени леса.

Мне оставалось лишь подчиниться.

«В конечном счете, – подумал я, призвав себя к повиновению, – если кто из нас и заслуживает жалости, то именно он».

* * *

То, что произошло следующей ночью, доказало, что это не совсем так, и значительно умерило мое чувство жалости к нему.

Случившееся расстроило меня тем более, что далеко не способствовало разъяснению тайны, а наоборот, само по себе казалось необъяснимым.

Вот в чем дело.

Я заснул спокойным сном, убаюканный мечтами об Эмме и радужными надеждами на успех. Но вместо забавных и легкомысленных снов мне привиделись нелепости предыдущей

ночи: ревушие и лающие растения. Шум терзал меня во сне все сильнее; наконец гам сделался до того нестерпимым и казался до того реалистичным, что я вдруг проснулся.

Я горел и был весь в поту. В ушах продолжали звучать отголоски услышанного во сне пронзительного крика. Я слышал его не впервые... нет... я уже слышал его, этот крик... тогда... когда я ночевал в лабиринте... тогда он доносился издали... со стороны Фонваля...

Я приподнялся на руках. Комната была залита лунным светом. Все было тихо. Только мерное тиканье маятника часов равномерно нарушало тишину. Я опустил голову на подушку...

И вдруг под впечатлением внезапного чувства ужаса я завернулся с головой в одеяло, зажав уши руками: зловещий, неслыханный, сверхъестественный вой неся из парка в тишине ночи... Это было что-то душераздирающее, и действительность превосходила ночной кошмар.

Я подумал о большой чинаре, росшей против моего окна...

Я поднялся, приложив нечеловеческие усилия. И тут я услышал тьяканье... сдавленное... что-то вроде заглушаемого лая... усиленно заглушаемого...

Ну что же? Ведь могла же это быть собака, черт побери!

В саду ничего... ничего, кроме чинары и уснувших деревьев.

Вой повторился с левой стороны. В окно – в другое окно я увидел то, что, казалось бы, все разъясняло. (Все-таки надо констатировать факт: мои слуховые впечатления во сне были вызваны криком, прозвучавшим наяву.)

Там спиной ко мне стояла изнуренная громадная собака. Она положила лапы на закрытые ставни моей бывшей комнаты и от времени до времени испускала отрывистый вой. Изнутри дома ей отвечало приглушенное тьяканье; но был ли это действительно лай? А что, если мой слух, подозрительно настроенный теперь, ввел меня в заблуждение? Скорее это можно было назвать человеческим голосом, подражавшим собачьему лаю... Чем внимательнее я прислушивался, тем этот вывод казался мне неоспоримее... Ну конечно, нельзя было даже ошибаться так грубо; как я мог сомневаться? Это резало слух: какой-то странный шутник находился в моей комнате и забавлялся тем, что поддразнивал бедную собаку.

Впрочем, это ему удавалось: животное выказывало все признаки возрастающего ожесточения. Оно странно модулировало свой вой, придавая ему всякий раз другое, необыкновенное выражение ужасного отчаяния... Под конец оно стало царапать лапами ставни и кусать их. Я услышал хруст дерева в его мощных челюстях.

Вдруг животное застыло, шерсть поднялась на нем дыбом. Из комнаты внезапно послышалась грубая брань. Я узнал голос моего дядюшки, хотя не мог разобрать смысла его ругательства. Шутник, получив нагоняй, немедленно замолк. Ну как понять это противоречие: собака, ярость которой должна была бы утихнуть, теперь выходила из себя – ее шерсть до того ошетилилась, что стала похожа на ежиные иголки. Она, громко ворча, пошла вдоль стены, направляясь к средней входной двери замка.

Когда она дошла до этой двери, Лерн открыл ее.

Мое счастье, что я был осторожен и не поднял шторы: первый взгляд Лерна был направлен на мое окно.

Тихим голосом, дрожавшим от сдержанного гнева, профессор пробирал собаку, но с крыльца не сходил, и я понял, что он ее боится. А та все приближалась, ворча и уставившись на него своими горящими под широким лбом глазами. Лерн заговорил громче:

– На место! Грязное животное! – Далее последовало несколько иностранных слов. – Убирайся! – произнес он уже по-французски, так как собака продолжала приближаться. – Или ты хочешь, чтобы я тебя прибил?

У дядюшки был такой вид, словно он сходит с ума. При луне он казался еще бледнее.

«Она его разорвет, – подумал я. – У него нет с собой даже плети...»

– Назад, Нелли! Назад!

Нелли... Выходит, это была собака покинувшего дядю ученика? Сенбернар шотландца?

И действительно, вот снова слышались иностранные слова, и я, к своему большому удивлению, узнал, что мой дядюшка говорит по-английски.

Его гортанные ругательства будили ночную тишину.

Собака сжалась, готовясь к прыжку. Тогда Лерн, потеряв терпение, пригрозил ей револьвером, показывая другой рукой направление, куда он ее гнал.

Мне случалось видеть на охоте, как собака, в которую прицеливаются, убегает от ружья, смертоносную силу которого она знает. Но такой же эффект от пистолета показался мне менее банальным. Испытала ли раньше Нелли действие этого оружия? Это было возможно, но я больше верю в то, что она скорее поняла английские слова – язык Макбелла, – чем револьвер моего дядюшки.

Она утихла, точно от пения Орфея, сжалась и, опустив хвост, побежала к серым зданиям, по направлению, указанному ей Лерном. Он помчался вслед за нею, и ночная тень поглотила их обоих.

На моих настенных часах время, этот вечный Жнец, скосило еще несколько минут.

Вдали громко хлопнули двери.

Затем вернулся Лерн.

И снова воцарилась тишина.

* * *

Итак, в Фонвале находились еще два существа, о присутствии которых я до этой ночи не подозревал: Нелли, жалкий вид которой не давал повода считать ее счастливой, Нелли, брошенная, вероятно, своим хозяином во время его поспешного бегства отсюда, – и злобный шутник. Ибо этим последним явно не могла быть ни одна из женщин, ни кто-то из трех немцев; шутовской характер его проделки выдавал возраст: ребенок, только ребенок мог забавляться тем, чтобы дразнить собаку. Но насколько мне было известно, в этом крыле никто не проживал. Хотя нет: Лерн же сам сказал мне: «Твоя комната занята». Кто же в ней обитал?

Ничего, это я выясню.

Если скрытое от меня присутствие Нелли в серых зданиях подстрекало еще больше мое любопытство по отношению к этим и без того заинтриговавшим меня строениям, то закрытые помещения замка неожиданно стали для меня новой целью.

Что ж, теперь я знал, *что* следует делать.

И так как перспектива охоты за тайной разжигала во мне лихорадку, какое-то необъяснимое предчувствие подсказало мне, что я поступлю мудро, если сначала доведу до благополучного конца одно дело, нарушив первый запрет Лерна, прежде чем приступлю ко второму. «Узнаем сперва суть его предприятий, – говорила мне совесть, – они подозрительны, а потом уже, совершенно спокойно, займемся любовными делами».

И почему я не последовал этому здравому совету? Но голос совести тих, и я спрошу вас: кто услышит его, когда во все горло начинает кричать страсть?

Глава 5

Сумасшедший

Неделю спустя. Я притаился в засаде за дверью моей бывшей комнаты – желтой, – припав глазом к замочной скважине.

* * *

Позавчера я уже приходил сюда, но не хватило времени для наблюдений.

Ха! Проникнуть в эту часть здания было не так-то и просто. Никогда еще левое крыло Фонваля не запиралось столь ревностно, разве что в те годы, когда тут были монастырские кельи.

Как я туда пробрался? Ужасно нелепым путем. Чтобы попасть из общей прихожей в желтую комнату, нужно пройти через большой зал и бильярдную. Рядом с бильярдной находится будуар, а с правой стороны от будуара как раз и помещается желтая комната, окна которой выходят в парк. И вот третьего дня, пользуясь случайно выпавшей на мою долю минутой свободы, я попробовал отпереть дверь в зал разными ключами, вынутыми мною из других дверей. Я уже начал терять веру в успех, но тут вдруг язычок замка поддался. Я открыл дверь и в слабом свете, проникавшем через закрытые ставни, увидел целую анфиладу комнат.

На пороге каждой я узнавал ей одной свойственный запах, еще больше, чем прежде, отдававший плесенью и напоенный прошлым, если его можно обонять... Повсюду пыль. Я на цыпочках шел по следу засохшей грязи, оставленной сапогами многих людей. Мышь пробежала по залу. На бильярде три шара, красный и два белых – слоновой кости – образовали равнобедренный треугольник; я мысленно обдумал удар и рассчитал, с какой стороны и с какой силой надо ударить свой шар, чтобы попасть им в оба. Вошел в будуар; остановившиеся часы показывали полдень – или полночь. Все мои чувства поразительным образом обострились.

Впрочем, едва я успел увидеть, что дверь в желтую комнату заперта, как какой-то шум заставил меня поспешно вернуться в прихожую.

Шутка могла закончиться очень плохо. Хотя Лерн и был занят работой в сером здании, но он знал, что я нахожусь в замке, а в таких случаях он часто неожиданно возвращался, чтобы посмотреть, что я делаю. Я решил, что разумнее будет отложить осмотр.

Мне необходимо было обеспечить себе час полной свободы. Я придумал следующую уловку.

Я отправился в Грей-л'Аббей и накупил там всяких туалетных принадлежностей, которые запрятал в чаще леса, недалеко от парка.

На следующий день за завтраком я обратился к Лерну и Эмме:

– Я еду в Грей после завтрака. Надеюсь, что мне удастся достать некоторые вещи, которые мне необходимы. Если не достану, придется доехать до Нантеля. Вам ничего не нужно купить?

На мое счастье, им ничего не было нужно, иначе вся моя комбинация рухнула бы и все пошло бы прахом.

Таким образом, мне достаточно было пятнадцати минут, чтобы привезти покупки из леса, а между тем, для того чтобы съездить в Грей, походить там по магазинам и вернуться обратно, надо было потратить больше часа. Следовательно, в моем распоряжении был целый час, что и требовалось.

Я выезжаю, прячу свой автомобиль в чаще около своих покупок, потом возвращаюсь в сад, перебравшись через стену: плющ с одной стороны, беседка из виноградных лоз – с другой упрощают мою задачу.

Прокрадываюсь вдоль стены замка, добираюсь до входа, проскальзываю в вестибюль.

Через несколько мгновений я уже в зале. Тщательно закрываю за собой дверь – на случай бегства из предосторожности на ключ ее все же не запираю.

А теперь – к делу! Припадаю глазом к замочной скважине.

* * *

Отверстие довольно широкое. Я словно смотрю через амбразуру, в которую задует резкий северный ветер. И какова же открывшаяся моему взору картина?

Комната в полумраке. Косой луч солнца, прокраившийся сквозь решетчатый ставень, как бы подпирает окно своим сверкающим снопом, в котором вьются мириады пылинок. На ковре видна тень решетки всего ставня. Все остальное в тени: конура, комната бедняка! Платье разбросано. На полу – тарелка с объедками; рядом какая-то мерзость... Больше похоже на тюремную камеру. Кровать... Ага! Кто это на ней шевелится?

А вот и он – узник.

Какой-то мужчина.

Он лежит на животе, среди разбросанных в страшном беспорядке подушек, матрасов и пуховиков, положив голову на скрещенные руки. Он одет в ночную рубашку и панталоны. Не бритая несколько недель борода и волосы – довольно короткие – белокурого, почти белесого цвета.

Я где-то видел это лицо... Нет... С тех пор как я услышал ночью этот ужасный, пронзительный крик, меня преследуют всякие дикие мысли... Я никогда не видел этого одутловатого лица, этого гибкого тела, я никогда не встречался с этим пухлым молодым человеком... никогда... Выражение его глаз довольно добродушно; глупо, но добродушно... Гм... Какое безразличное выражение лица. Это, должно быть, здоровый лентяй...

Пленник дремлет довольно спокойно: ему надоедают мухи. Он отгоняет их внезапным неуклюжим движением; изредка приоткрывает глаза, следит с минуту ленивым взглядом за их полетом и снова засыпает; иногда, охваченный внезапным припадком ярости, он мотает взлохмаченной головой из стороны в сторону, пытаясь поймать зубами надоедливых насекомых.

Сумасшедший!

В доме дядюшки живет какой-то безумец! Но кто он такой?

Я почти прикасаюсь глазом к скважине... Глаз утомился. Попробовав посмотреть другим, который несколько близорук, я увидел мутную картину. Это отверстие невероятно узко... Черт его побери! Я со стуком ударился о дверь...

Сумасшедший вскочил на ноги. Какой он маленький! Вот он идет в мою сторону... А что, если он попробует вырваться?.. Ну вот еще! Он бросается на землю у двери, обнюхивает ее и ворчит... Бедный малый, на него жалко смотреть...

Он ни о чем не догадался. Теперь он присел и, весь испещренный полосами солнечного света, проникающего сквозь решетчатый ставень, стал лучше виден.

Кожа рук и лица сплошь покрыта розоватыми крапинками, точно следами от заживших царапин. Можно подумать, что он раньше здорово с кем-то подрался; но – вот это будет посерьезнее! – длинный, фиолетового цвета след, идущий от одного виска к другому под волосами, огибает череп сзади. Он до странности напоминает рубец... Этого человека пытали! Я не могу понять, какому испытанию Лерн его подверг или какое мщение он для него придумал, но... Ах, палач!

Внезапно в моем мозгу выстраивается следующая цепочка: я мысленно сопоставляю индейский профиль моего дядюшки, поразительную шевелюру Эммы, белокурые волосы сумасшедшего и зеленую шерсть крысы. Не ищет ли Лерн способа прививать лысым волосатые скальпы? Не это ли его знаменитое предприятие, сулящее такие выгоды?.. Но я немедленно

понимаю, насколько мое предположение глупо. Тому нет никаких подтверждений. Кроме того, этот несчастный не был скальпирован: ведь тогда рубец должен был бы описать полный круг. А разве он не мог сойти с ума от какого-нибудь несчастного случая, от удара головой например?

Он – сумасшедший, но не опасный: тихое помешательство. И, решительно, у него хорошее выражение лица.

Иногда даже в его глазах сверкает искра разума... Он, наверное, кое-что знает, я убежден в этом... Я уверен, что, если его осторожно расспросить, он ответит. А что, если попробую на авось?..

Дверь закрыта только с моей стороны, и то всего лишь на задвижку. Я отодвигаю ее решительным движением руки. Но не успел я еще войти в желтую комнату, как заключенный, нагнув голову, бросается вперед, ударяет меня в живот, опрокидывает меня, падает сам, поднимается и удирает, твякая по-собачьи; вот почему я в ту ночь принял его за проказника.

Быстрота его движений сбила меня с толку. Как ему удалось так меня обморочить? Что за странная мысль броситься на меня, нагнув голову?.. Несмотря на внезапность нападения, я быстро вскочил. Я чуть с ума не сошел от испуга и неожиданности. Сумасшедший, выпущенный на свободу идиотом, которого он погубит! О!.. Пропал Николя, погиб, брат; это не подлежит ни малейшему сомнению... Не лучше ли и мне удрать по-английски, не прощаясь, чем пытаться догнать беглеца? Да и какую пользу это теперь принесет?.. Да, но Эмма! А секрет? Ну, будь что будет, попробую догнать его, черт возьми!

И вот я мчусь по пятам незнакомца.

Лишь бы он не побежал в сторону серых зданий!.. К счастью, он бежит в противоположном направлении. Все равно всякий может нас заметить... Мой беглец несется, подпрыгивая, очень радостный. Он углубляется в парк. Слава богу! Проклятое животное хоть не кричит больше, и то хорошо... Ай, кто там?.. Нет – это статуя!.. Надо догнать его поскорее. Стоит ему сделать неудачный поворот, и я конченный человек... Ну и весело же он настроен, дуралей!.. Ах, черт возьми, если он будет двигаться дальше в том же направлении, он обогнет парк кругом, и нам придется пробежать мимо серых зданий, у самых окон Лерна. Да будут благословенны деревья, которые пока еще скрывают нас. Скорее!.. Ах боже мой, а дверь-то в зал, которую я забыл закрыть... Скорее, скорее!..

Беглец не знает, кто его преследует, – он ни разу не оглянулся: ему трудно бежать, потому что он босиком, он замедляет бег; я настигаю его...

Он остановился на минутку, обнюхал воздух и побежал дальше. Но я уже близок к нему. Он бросился в кусты, налево, к утесам... Я за ним... Я от него в десяти метрах. Он пробирается сквозь густые кусты, не обращая внимания на царапины. Я мчусь по его следам. Ветви хлещут его по лицу, шипы вонзаются в тело, он жалобно подвывает, задевая за них. Почему же он не раздвигает их? Он мог бы избежать царапин. Утес недалеко. Мы бежим прямо на него. Честное слово, мне начинает казаться, что моя дичь прекрасно знает, куда и зачем бежит... Я вижу его спину... не всегда... тогда мне приходится ориентироваться по треску сучьев.

Наконец на фоне скалы возникает его узкая голова. Он совершенно неподвижен.

Бесшумно прокрадываюсь вперед. Еще секунда – и я на него наброшусь. Но тут он делает нечто такое, что я замираю на краю ограниченной с одной стороны скалистой стеной лужайки, в центре которой он находится.

Он опустился на колени и яростно царапает землю. Он срывает ногти и снова начинает подвывать, так же точно, как раньше, когда он раздирал себе лицо о кусты боярышника и тутового дерева. Комья долетают до меня; его судорожно сведенные руки роют землю быстрыми и правильными взмахами: он роет, стелая от боли, и по временам погружает в вырытую яму свой нос, насколько можно глубже, фыркает, мотая головой, и снова принимается за свое нелепое занятие. Я ясно вижу его ужасный рубец... А, какое мне дело до его сумасбродств?! Это подходящий момент, чтобы схватить его и увести с собой...

Я потихоньку, на цыпочках выхожу из своего укрытия. Скажите пожалуйста! Кто-то уже занимался здесь раскопками: кучка посеревшей земли доказывает это; блондин, по-видимому, только возобновил раньше начатую и брошенную работу. Ну да это не важно...

Собираюсь с силами, готовлюсь к прыжку.

В этот миг человек издает довольное ворчание, и что же я вижу на дне вырытой им ямки? Откопанный им старый башмак! И он так рад этой находке, бедняга!

Прыгаю – и вот уже держу его, этого типа! Проклятье! Он оборачивается, отталкивает меня, но – нет, я не позволю ему вырваться... Странно... До чего же неловко он управляется со своими руками... Ай! Кусаться вздумал, кретин?

Сжимаю его так, что едва не душу. Видно, что он никогда не боролся. Но все же я еще не победил... Удастся ли? Неловкий шаг: угодил в ямку – наступаю на старый башмак. О ужас! В нем, внутри, что-то есть – нечто удерживающее его в земле. Чувствую, что задыхаюсь... Что может больше напоминать ногу, как не башмак?

С этим нужно кончать. Каждая минута промедления может стоить мне жизни.

Обхватив друг друга руками, мы стоим, опершись о скалу, лицом друг к другу, оба задыхающиеся, оба одинаково сильные... Идея: я широко раскрываю глаза и придаю им грозное выражение, точно собираюсь отрубить ребенка или укротить зверя. Тот немедленно оседает, разжимает объятия... даже лижет мне руки в знак повиновения... какая гадость!..

– Ну всё, пойдем!

Я тащу его. Башмак – с резинками по бокам – торчит носком кверху. Он не похож на несчастный истрепанный башмак, брошенный на большой дороге. Но тем больше отвращения он внушает. Его продолжение, прикрепляющее его к земле, мало видно. Виден только кусочек трико. Может быть, это носок?.. Сумасшедший тоже оглядывается посмотреть на него.

– Давай, дружище, бегом!

Мой спутник повинуется благодаря бросаемым мною повелительным взглядам, и мы бежим со всех ног.

Боже! Что произошло в замке за время нашего отсутствия?

Да ровным счетом ничего!

* * *

Но когда мы входили в прихожую, я услышал, что на верхнем этаже разговаривали Эмма и Барб. Они начинали спускаться с лестницы в тот момент, когда знаменитая дверь зала, закрывшись за нами, успокоила мою тревогу и возбудила новую в моей душе.

В самом деле, каким путем улизнуть мне, после того как я запру помешанного, чтобы женщины меня не заметили?

Вернувшись на цыпочках к дверям зала, я прислушался, приложив ухо к створке, чтобы понять, в какую сторону они направятся. Но вдруг я стал отступать, пятясь от двери, ища убежища, ширмы, куда бы спрятаться... делая руками движения утопающего... еле сдерживаясь, чтобы не закричать во весь голос...

Кто-то пытался открыть дверь ключом.

Моим? Забытым мною в замке и украденным за время моего отсутствия? А вот и нет, мой находился при мне, в кармане пиджака, куда я сунул его, вернувшись.

Но тогда...

Покрытая патиной дверная ручка медленно повернулась. Кто-то вот-вот войдет. Но кто? Немцы? Лерн?

Эмма!

Эмма, увидевшая пустую комнату. Возможно, одна из широких шелковых портьер шевелилась – шевелилась от мелкой дрожи, – но она этого не заметила.

Позади нее держалась Барб. Молодая женщина вполголоса приказала ей:

– Оставайся тут и следи за садом. Поступишь так же, как и в прошлый раз, – тогда ты все сделала верно. Как только старик выйдет из лаборатории, дай мне знать, кашлянув.

– Меня тревожит не он, – ответила испуганная Барб. – Уверена, сейчас он совершенно спокоен, так что до вечера мы его не увидим. Но вот если вдруг пожалует Николя...

Выходит, серые здания назывались лабораторией. Так вот за какое слово профессор заткнул служанке рот пощечиной! Мои познания расширялись.

– Повторяю еще раз, – раздраженным тоном заметила Эмма, – бояться совершенно нечего. Да и вообще, это же не в первый раз, правда?

– Да, но тогда не было Николя.

– Хватит уже! Делай, что тебе велят!

Барб с недовольным видом отправилась на свой пост.

Эмма постояла несколько минут неподвижно, прислушиваясь. Хороша! О, хороша, как Вампир Сладострастия! А ведь я видел только силуэт на ярком прямоугольнике открытой двери, тень без движения... но гибкая, как само движение.

Мне всегда казалось, что Эмма остановилась во время пляски, но каким-то колдовским образом, неподвижная, она продолжает свой танец, до того гармоничен был ее вид; она блистала красотой сладострастных баядерок, знающих только танец любви, все па, все движения которого: повороты, малейшие жесты – говорят лишь о любовных восторгах...

Кровь закипела в моих жилах. Меня охватило страшное волнение, вся кровь прилила к мозгу. Эмма у сумасшедшего!.. Все это блаженство станет добычей этого скота... Я готов был убить ее на месте...

Вы говорите, что я ничего не знал, что я делал ни на чем не основанные предположения? Вы, значит, не знаете эту странную походку, этот хитрый и в то же время жадный блеск глаз, который появляется у женщин, пробирающихся потихоньку к своему любовнику... Посмотрите, она двинулась вперед. Ну что же?.. Разве не хватило бы одного взгляда, чтобы угадать, куда и зачем она шла?.. Весь ее вид кричал об этом! Все обличало в ней радость надежды и болезненную необходимость, что уже само по себе является наслаждением!.. Но я не хочу ни описывать это дьявольское тело, ни переводить непристойный язык его движений. Не ждите от меня, что я стану рисовать портрет женщины, стремящейся к своему любовнику из чисто животного чувства. Потому что – мне мерзко писать об этом! – именно такой она и была. Порой восприятие обостряется, когда человек находится под влиянием какого-нибудь захватившего его целиком видения или ощущения. Так, например, слушая какую-нибудь необыкновенную музыку, мы целиком обращаемся в слух, слушаем и глазами, и ртом, и носом – словом, всем своим существом. Так и эта влюбленная женщина олицетворяла собой не что иное, как блистающий счастьем пол – саму Афродиту.

Это привело меня в бешенство.

Спеша к своему гнусному любовнику, красавица задела юбкой портьеру, за которой я прятался.

Я преградил ей путь.

Она вскрикнула в страшном испуге. Мне казалось, что она сейчас упадет в обморок. Влетела Барб с перекошенным от ужаса лицом и... моментально испарилась. Тогда я по глупости выдал причину своего поступка:

– Зачем вы идете туда, к тому безумцу? – Прерывавшийся на каждом слове, мой голос звучал глухо и свирепо. – Признайтесь: зачем? Да скажите же, бога ради!

Я набросился на нее и принялся выкручивать ей запястья. Она тихо стонала, все ее очаровательное тело волнообразно колыбалось. Я сжимал теплые и упругие руки, точно хотел задушить двух голубков, и, впившись глазами в ее расширенные от страха зрачки, твердил:

– Зачем? Скажи мне! Зачем?

Надо же было быть таким наивным! Едва я перешел на «ты», как она вскинула голову, смерила меня взглядом с головы до ног и вызывающе бросила:

– И что же? Вы и сами прекрасно знаете, что Макбелл был моим любовником! Лерн достаточно ясно намекал на это в моем присутствии в день вашего приезда.

– Макбелл? Стало быть, сумасшедший – это он?

Эмма не ответила, но ее удивленный вид показал мне, что я совершил очередную оплошность, продемонстрировав свое невежество на сей счет.

– А что, я теперь не вправе любить его? – осведомилась она. – Уж не рассчитываете ли вы, случаем, запретить мне это?

Я еще крепче сжал ее руки:

– Так ты все еще его любишь?

– Больше чем когда-либо, слышите?

– Но ведь он превратился в тупое животное!

– Есть сумасшедшие, которые считают себя богом; Макбелл порой полагает, что он – собака, так что его безумие, возможно, и не столь уж серьезно. Да и потом...

Она загадочно улыбнулась. Я мог бы поклясться, что она задалась целью вывести меня из себя. Ее улыбка и эта неоконченная фраза нарисовали мне ужасную картину.

– Ехидная стерва!

Я схватил ее за горло и начал душить, выкрикивая ругательства ей прямо в лицо. Она могла считать себя погибшей и все-таки, полузадушенная, продолжала улыбаться... Это надо мной издевался не тот рот, который жадно целовал, сколько хотел, а другой; все мое бешенство обрушилось на него. Я отучу его улыбаться, он станет краснее и влажнее не от поцелуев... Моими челюстями овладело безумное желание кусать... Я был хуже сумасшедшего теперь... Всякие сумасбродства сделались мне понятными. Я бросился на насмешливо улыбавшиеся губы, которые скоро будут окровавленными и разодранными, не так ли?... Да, как же!.. Мы стукнулись зубами, и это превратилось в поцелуй – таким, должно быть, был первый поцелуй у первобытных людей в пещере или болотной хижине, примитивный и грубый, скорее борьба, чем ласка, но все же поцелуй.

Потом сладострастная ласка разжала мои зубы, и продолжение этого дикого поцелуя было до того изысканно, что доказало присутствие в моей партнерше не только природного расположения к разврату, но и большую опытность.

Эти объятия повлекли за собой другие. Но в тот день мы должны были ограничиться самыми вульгарными из них; стоит ли говорить о тихом звоне, который издают пружины старого дивана от падения двух тел?

Надрывно кашляя, прибежала Барб – жутко несвоевременно и в то же время как нельзя кстати.

– Явился мсье! Вот-вот будет здесь!

Эмма вырвалась из моих рук. Она снова подпала под власть Лерна.

– Уходите! Скорее! – почти вскричала она. – Если он узнает, вам конец... и мне уже теперь, вероятно, тоже... О! Да уходите же!.. Беги, мой возлюбленный волчонок. Лерн способен на все!

* * *

И я почувствовал, что она говорит правду, потому что ее милые руки вдруг похолодели и затрепетали в моих, и губы ее, к которым я прижимал свои в прощальном поцелуе, дрожали от страха.

Страшно возбужденный неожиданной удачей, которая удесятерила мою силу, быстроту и ловкость, я быстро взобрался на беседку и соскочил с другой стороны стены.

Я нашел свой автомобиль в укрытии из зелени и побросал в него свои пакеты как попало. Я был идиотски счастлив. Эмма будет моей! Ах, какая любовница!.. Женщина, которая не поколебалась перед тем, чтобы утешить сделавшегося отвратительным друга... Но теперь я был ее избранником, в этом я не сомневался. Любить этого Макбелла? Чушь! Вздор! Она нарочно солгала, чтобы вывести меня из себя. Она просто чувствовала к нему жалость...

Кстати, каким образом шотландец сошел с ума? И почему Лерн скрывал это? Дядюшка уверял меня, что он уехал. Да и потом, зачем держать взаперти его собаку? Бедная Нелли! Теперь мне стали понятны ее страдание у окна и ее злоба к профессору: драма, столкнувшая Эмму, Лерна и Макбелла после того, как профессор накрыл их, вероятно, на месте преступления, произошла на глазах Нелли. Какая драма? Я узнаю, в чем дело: от любовника не должно быть секретов, а я скоро сделаюсь им. Прекрасно! Все устраивалось великолепно!

Моя радость проявляется обыкновенно в песне. Если я не ошибаюсь, я мурлыкал под нос сегидилью, веселый мотив которой вдруг оборвался при воспоминании о старом башмаке, внезапно вынырнувшем из памяти, как маска красной смерти на балу.

Настроение сразу упало. В моем мозгу зашло солнце: все потемнело, сделалось подозрительным, угрожающим; овладевшее мною мрачное настроение заставило меня принять за уверенность зловещие предположения, и даже образ пылкой Эммы не мог рассеять их погребального мрака. Погруженный в бездну страха перед неизвестным, я въехал в этот сад-могилу и замок – дом сумасшедших, где наряду с безумцем и трупом меня ожидала женщина-вамп.

Глава 6

Нелли, сенбернар

Несколько дней прошло без всяких происшествий. Ничто не удовлетворяло ни моей любви, ни моего любопытства. Лерн – может быть, у него возникли подозрения – старался занять все мое время.

Каждое утро он просил меня сопровождать его то пешком, то на автомобиле. Во время прогулок он занимался тем, что обсуждал какую-нибудь научную тему, задавая мне попутно целый ряд вопросов, точно он в самом деле хотел проверить и уяснить себе мои способности. Мы совершали долгие круговые прогулки на автомобиле. Пешком дядюшка всегда направлялся по дороге, ведущей прямо в Грей; в пылу спора он то и дело останавливался, но никогда не переступал опушки леса. Сплошь и рядом в середине оживленного спора, иногда в самом начале прогулки или поездки, Лерн внезапно решал вернуться домой, не доверяя тем, кого он оставлял в Фонвале.

Он же определял, как и чем мне заниматься после завтрака: то отправлял с каким-либо поручением в город или деревню, то заставлял меня проделать в одиночестве какую-нибудь экскурсию; приходилось без разговоров и возражений садиться в машину или надевать дорожные сапоги. Лерн присутствовал при моем отъезде или уходе, а вечером поджидал меня на пороге дома и требовал подробного отчета в моем времяпрепровождении. Смотря по обстоятельствам, приходилось докладывать об исполненном поручении или описывать посещенные мною места. Конечно, дядюшка сам не видел большей части тех мест, которые он поручал мне осмотреть и описать, но так как я не мог угадать, какие он знает, то выдумывать что-то в таких обстоятельствах было опасно.

А потому я добросовестно посещал все, что мне было предписано, и проводил вне дома целые дни.

А как мне хотелось быть поближе к комнате Эммы! По числу открытых и закрытых окон я, зная топографию замка во всех мельчайших подробностях, вычислил, где она должна находиться. Все левое крыло было всегда закрыто. Что касается правого крыла, то в нижнем этаже располагались хозяйственные помещения; из шести комнат верхнего этажа только три были открыты: моя – в выдающейся вперед пристройке, а на другом конце – комната тетушки Лидивины, выходящая в центральный коридор, и смежная с ней комната Лерна. Значит, Эмма могла только или занимать место тетушки в собственной кровати, или делить ее с Лерном. Последняя гипотеза выводила меня из себя, и я с нетерпением ждал, чтобы меня оставили в покое, так как хотел проверить ее. Мне достаточно было бы пяти минут: подняться по главной лестнице, открыть дверь, и я знал бы ответ.

Подчиняясь безжалостной дядюшкиной тирании, я встречался с мадемуазель Бурдише только за столом. Мы оба прикидывались совершенно чужими друг другу. Я набрался храбрости смотреть на нее, но разговаривать с ней не смел. Она упорно не произносила ни слова, так что, за невозможностью составить о ней мнение по разговору, мне оставалось судить лишь по внешности и поведению. И должен признаться, как ни груб людской обычай питаться мертвыми животными и увядшими растениями, все же насыщаться можно по-разному... Эмма охотно брала котлету руками, и всякий раз мне казалось, что я слышу, как она говорит своим вульгарным голосом: «Мой маленький волчонок!» Но скажите, пожалуйста, какое отношение имеют хорошие манеры к разврату и что общего между поведением за столом и в алькове?

Лерн, сидевший между мною и Эммой, не находил себе места: то крошил хлеб, то нервно трогал вилку, то в припадке необъяснимого гнева стучал кулаком по столу, отчего звенели стаканы и фарфоровая посуда.

Однажды нечаянно, без всякого умысла, я задел его под столом ногой. Доктор заподозрил мою невинную ногу в легкомысленных планах, убежденный, что случайно накрыл своей ногой какой-то хитрый ножной мадригал, немедленно решил, что мадемуазель Бурдише плохо себя чувствует и начиная с этого дня будет обедать у себя в комнате.

Тут моим мозгом овладели сразу две страсти, рожденные двойной потребностью заставить страдать и дарить наслаждение: ненависть к Лерну и любовь к Эмме. И я решил пойти на самые рискованные шаги, чтобы удовлетворить оба этих желания.

Как раз в тот же самый день дядюшка сказал мне внезапно, без каких бы то ни было предварительных разговоров, что он собирается взять меня с собой завтра в Нантель, где у него есть дела.

Передо мной замаячила возможность избавиться от его надзора. Завтра – в воскресенье – в Грее был ежегодный престольный праздник⁷, и я решил, что сумею этим воспользоваться.

– С удовольствием, дядюшка, – ответил я. – Только выедем пораньше на случай возможной в пути задержки из-за какой-нибудь поломки.

– Я предпочел бы доехать на автомобиле только до Грея, а уж оттуда до Нантеля – по железной дороге. Так будет надежнее.

Меня это устраивало как нельзя лучше.

– Хорошо, дядюшка, будь по-вашему.

– Поезд уходит из Грея в восемь. Вернемся тем, что приходит обратно в пять сорок, – раньше ничего нет.

* * *

Въехав в деревню, мы издали слышали гул, временами перекрывавшийся глухим мычаньем. Где-то заржала лошадь, вблизи блеяли овцы.

Мне не без труда удалось пробраться через превращенную в ярмарку деревенскую площадь, на которой уже собралась толпа.

В промежутках между будками для стрельбы в цель и всякими мелочными лавчонками разместили скот для продажи: тут мозолистые руки взвешивали вымя, обнажали десны, чтобы по зубам узнать возраст, ощупывали мышцы, чтобы судить о крепости их; на глазах у всех, нисколько не смущаясь, молодая девушка проверяла пол кролика, зажав его между колен; барышники ввали и хвастались; между двух рядов покорных крестьян конюхи проводили грузных першеронов и тяжелых булонских лошадей; ружейные выстрелы смешивались с другими звуками. Первый напившийся в этот день покачивался и мешал мне проехать, называя меня «гражданином». Мы медленно пробирались вперед. В центре Арденнского рынка, в гостинице, уже пели, но не горланили еще; церковные колокола уже начали свой перезвон, призывая прихожан к молитве, а построенная на площади белая, убранная листьями эстрада ясно указывала на то, что праздник не обойдется без доморощенного оркестра.

Как только мы очутились перед вокзалом, я сказал себе, что пришло время действовать.

– Скажите, дядюшка, мне придется сопровождать вас во всех ваших странствованиях по Нантелю?

– Разумеется, нет. А что?

– В таком случае, дядюшка, так как я питаю отвращение к кафе, тавернам и кабачкам, я попросил бы вас оставить меня здесь, где я смогу дожидаться вас с тем же успехом, как и в любой нантельской брассерии⁸.

⁷ Престольный праздник – праздник в память события священной или церковной истории, а также святого, во имя которого освящен храм или придельный престол храма.

⁸ Брассерии – тип кафе, где, как правило, есть напечатанное меню, а столы накрыты белыми скатертями (в отличие от

– Но тебя же никто не заставляет хо...

– Во-первых, меня весьма прельщает проходящий в Грее праздник. Хотелось бы подольше понаблюдать за этим сборищем: здесь, дядюшка, ярко обрисовываются местные нравы, а сегодня я чувствую в себе призвание этнолога.

– Ты что, смеешься? Что это еще за прихоть такая?

– ...И во-вторых, дядюшка, кому нам доверить присматривать за машиной? Владельцу гостиницы? Или еле держащемуся на ногах хозяину кабака, переполненного пьяными мужиками? Вы же не думаете, что я оставлю на девять часов автомобиль стоимостью в двадцать пять тысяч франков посреди веселящейся деревушки? Ну уж нет! Я хочу иметь возможность приглядывать за ним лично.

Дядюшка не был вполне убежден в моей искренности. Он решил расстроить маленькое предательство, которое я замышлял: съездить в его отсутствие в Фонваль на автомобиле или на взятом напрокат велосипеде с тем, чтобы вернуться в Грей к пяти часам сорока минутам. В сущности, это и была та хитрость, которую я придумал. Проклятый ученый чуть не испортил всего.

– Ты прав, – холодно сказал он.

Он вылез и, не обращая никакого внимания на окружавшую нас толпу празднично разодетых путешественников, поднял крышку мотора и внимательно осмотрел его. Я почувствовал дурноту.

Дядюшка вытащил нож, отвинтил карбюратор и, сунув в карман некоторые из его составных частей, заявил мне:

– Ну вот, теперь твоя коляска никуда не уедет! Но так как ты можешь улизнуть и иным образом, я дам тебе задание. Когда я вернусь, ты представишь мне *исправно функционирующий* карбюратор, пополненный недостающими частями твоего собственного производства. Кузница не закрыта, кузнец одолжит тебе на время молот, тиски и наковальню, но малый он несмышленный, так что в этом деле едва ли сумеет тебе помочь. Теперь тебе есть чем заняться до пяти сорока.

Не встретив ни малейших возражений, он уже несколько смущенным тоном добавил:

– Прости меня, Николя, но поверь: все это делается с единственной целью – устроить твое будущее, сохраняя наши работы в тайне. Прощай!

Поезд увез его.

Я спокойно смотрел на то, что он делал, не высказывая неудовольствия и не испытывая досады. Я неважный механик и терпеть не могу, когда мои руки перепачканы в масле и расцарапаны, а так как, по желанию дядюшки, я лишен был возможности взять с собой помощника («приезжай один»), то я привез некоторые запасные части; среди них у меня был и новый, совершенно целый карбюратор, который можно было сразу пустить в ход. Моя лень сослужила мне большую службу, чем ловкость профессионала.

Я незамедлительно принялся за работу, с беспокойством думая о предоставленных самим себе гостях Фонваля.

* * *

Немного времени спустя, запрятав автомобиль в густой лесок, я снова перелезал через стену парка.

Я, несомненно, направился бы сразу в комнату Эммы, если бы со стороны серых зданий не раздавался заунывный жалобный лай.

...Лаборатория!.. Нелли!.. Странность того, что лаборатория служила тюрьмой для собаки, заставила меня колебаться между стремлением открыть тайну и желанием обладать Эммой. Но на этот раз какое-то инстинктивное предчувствие опасности взяло верх: я направился к серым зданиям. Да, кроме того, немцы, наверное, были в лаборатории, и их присутствие не даст мне возможности застрять там надолго. Следовательно, речь шла всего о нескольких минутах, которые будут похищены у любви: хотя рассудок и победил, но какая это была слабая победа!

Пробираясь мимо желтой комнаты, я остановился и прислушался у закрытых ставней – один ли он?

Оказалось, что один; мое сердце наполнилось чувством безграничной и некрасивой радости.

По небу бежали белые облака. Ветер дул из Грея, и по ущелью до меня доносились обрывки монотонного колокольного звона. Колокола без устали непрерывно повторяли три одинаковые ноты; мне было весело; я насвистывал какой-то мотив, сам не знаю какой... Право, отсутствие Лерна освобождало от постоянного напряжения: можно было думать о всякой чуши, и в голове роились самые необузданные фантазии...

Напротив лаборатории, через дорогу, находился лесок. Чтобы добраться до него, я осторожно лавировал: там я расставил свои батареи. Посреди этого леска рос мой старый друг – большая сосна; ее широкие ветви были расположены винтообразной лестницей; она была выше всех окружающих строений: трудно было найти лучший и более доступный наблюдательный пункт. В дни детства я играл на ее ветвях в «матроса на реях»...

Дерево сохранило свои густые ветви, и я полез наверх. На верхних ветвях меня ждал сюрприз – сохранившаяся с детства, полустгнившая и обмотанная веревками перекладина, изображавшая марс. Кто бы мог предсказать мне в то время, когда я открывал, сидя на ней, материки и архипелаги, что наступит день, когда я снова буду здесь на часах, чтобы открыть фантастические вещи, которые окажутся правдой.

Я раздвинул ветви и принялся наблюдать.

Как я уже говорил, лаборатория располагалась в двух павильонах, разделенных двором.

Левое здание состояло из двух этажей. В обоих были одинаковые широкие окна, одинаково расположенные. Мне показалось, что там помещались два находившихся один над другим зала. Мне виден был только верхний, довольно сложно меблированный: аптекарский шкаф, мраморные столы, заставленные баллонами, склянками, ретортами и хирургическими наборами из блестящего металла. Кроме того, там стояли два трудно поддающиеся описанию аппарата из стекла и никелированного металла, вид которых очень отдаленно и туманно напоминал металлические шары на одной ножке, куда лакеи в ресторанах прячут грязные салфетки.

Второе здание было слишком далеко от меня, чтобы я мог в него заглянуть, но внешне оно походило на обыкновенный дом – по-видимому, квартиру трех помощников.

Но мое внимание привлек главным образом двор, который я в день своего приезда принял за птичий.

Грустное зрелище: все стены его были заставлены клетками различных размеров, установленными друг на друга от земли до высоты человеческого роста. Каждая клетка была снабжена надписью, и в них были размещены кролики, морские свинки, крысы, кошки и другие животные, которых я за дальностью расстояния не мог рассмотреть; одни грустно шевелились, другие лежали неподвижно, наполовину забившись в солому. На одной из подстилок что-то трепетало, но я не мог разглядеть, в чем дело, почему и решил, что это гнездо мышей.

Последняя клетка – правая – служила курятником. Вопреки обыкновению, все птицы были загнаны туда.

Все это утопало в тишине и меланхолии.

Но все же четыре курицы и один петух, самой обыкновенной породы, вели себя более оживленно, чем остальные, и важно похаживали, поклевывая бетонный пол, на котором они упорно и тщетно искали зерен и червей.

Посередине двора было отгорожено решеткой четырехугольное пространство: это была псарня. Перед своими будками собаки прогуливались с покорным видом туда и сюда, как умеют делать эти философы: тут были пудели, охотничьи и сторожевые собаки, дворняжки и помеси ищеек. Они мирно прохаживались и окончательно придавали этому месту сходство с внутренним двором ветеринарного госпиталя.

Все это имело весьма мрачный вид.

Действительно, редкое из всех этих животных выглядело здоровым. Большая часть имела повязки, кто на спине, кто вокруг шеи, а главным образом на голове. И сквозь решетки темниц не видно было ни одного, у которого не было бы сделано из полотна шапки, чепчика или тюбана. Процессия грустных собак в шутовских белых колпаках, напоминавших туарегов или монахинь, с дощечкой, привязанной к шее, представляла собой какой-то похоронный маскарад. Тем более что все эти несчастные животные были награждены каким-нибудь увечьем.

Одна кивала мордочкой на каждом шагу; другая хромала; третья трясла головой, как при старческом маразме; одна неизвестно почему спотыкавшаяся дворняжка жалобно скулила и вдруг продолжительно завывала, точно перед покойником, как говорят люди...

Нелли там не было.

В темном углу я заметил темный безмолвный птичник, в котором никто не летал. Насколько я мог разглядеть, птицы принадлежали к самым ordinарным породам, и главным образом там кишели воробьи. Тем не менее большая часть принадлежала к разновидности с белыми головами; слабость моих орнитологических познаний мешала мне определить их породу на таком расстоянии.

Я ощутил запах фенола.

Ах, великолепные помещичьи дворы, на которых пахнет теплым навозом, слышно воркование голубей на покрытых мхом черепичных крышах, кукареканье важных петухов, тявканье собаки, привязанной цепью к своей будке, видны эскадроны гусей, которые мчатся, распустив крылья, сами не зная куда, – о вас я думал, глядя на эту больницу... Действительно – печальный двор, внушающий отвращение своей дисциплиной и своими больными с привязанными к ним этикетками, как у растений в оранжерее.

Вдруг поднялась возня и шум: собаки забились в свои будки, а птицы спрятались под каменный желоб. Прекратилось всякое движение; казалось, что в птичнике и клетках находятся чучела набитых соломой животных и птиц. Из левого флигеля вышел Карл – немец с императорскими усами.

Он открыл одну из клеток, протянул руку к свернувшемуся в глубине ее клубку шерсти и вытащил обезьяну. Шимпанзе отчаянно отбивался и защищался, но помощник усмирил его, потащил за собой и исчез за той же дверью, из которой вышел.

Во дворе протяжно завывала дворняжка.

Тогда поднялась суматоха в зале с аппаратами, и я увидел, что в него вошли три помощника Лерна. Связанную обезьяну положили на узкий стол и крепко-накрепко привязали к нему, после чего Вильгельм сунул ей что-то под нос. Карл сделал ей укол в бок шприцем для морфия. После этого приблизился высокий старик – Иоганн. Он укрепил на носу свои золотые очки, взял операционный нож и нагнулся над пациентом. Я не могу объяснить быстроты операции, но в один момент лицо обезьяны превратилось в бесформенную красную массу.

Я отвернулся из-за охватившего меня чувства тошнотворного головокружения: так действует на меня вид крови.

Оказывается, что здесь, в моем непосредственном соседстве, находится лаборатория для вивисекций, это внушающее ужас и отвращение учреждение, в котором для филантропических

целей мучают славных животных, вполне здоровых и полных жизни, чтобы попытаться вылечить еще пару хворых людишек. Здесь наука присваивает себе весьма спорное право, которое, если принять во внимание проливаемую кровь, по-видимому, невозможно оправдать. Потому что, если палач морской свинки безусловно уверен, что он подвергает мучениям невинное и, вероятно, счастливое существо, то спасающий от смерти человека в десяти случаях из двенадцати продлевает существование негодяя или несчастного. По правде сказать, быть обязанным своею жизнью вивисекции равносильно тому, чтобы питаться живыми существами. Можно быть другого мнения, рассуждая в кабинете у камина, но не находясь в положении, подобном моему, присутствуя при этой омерзительной операции, будучи окруженным тайными опасностями, которые, быть может, способствовали этому преступлению.

Несмотря на то что эта операция, вероятно, много значила, мне недоставало силы воли заставить себя смотреть дальше. Я никак не мог оторваться от ствола дерева и карабкающегося по нему красненького с черными точечками на спинке насекомого.

Наконец я заставил себя обернуться. Слишком поздно. Яркий солнечный свет, отражавшийся от оконных стекол, не давал возможности разглядеть, что делается внутри.

А во дворе собаки снова выползли из своих будок, и между ними теперь прогуливалась собака Донифана Макбелла, Нелли. Она кашляла. Ее коротко остриженная шкура ни чем не напоминала теперь густой шерсти сенбернара. Великолепная собака превратилась в настоящий скелет, вид которого производил еще более странное впечатление рядом с его откормленными товарищами. На затылке Нелли тоже виднелась повязка. Каким мучением подверг ее Лерн после той ночи, когда у них произошла стычка? Что за дьявольский опыт он произвел над ней?..

Казалось, что собака размышляет о том же самом, до того ее походка была уныла. Она держалась в стороне от остальных собак и, когда какой-то ретивый бульдог, задрвав хвост, подбежал к ней объясняться в любви, она посмотрела на него так свирепо и так ужасно взвыла, что тот отлетел как ошпаренный и забился в свою будку, а все остальные псы как один подняли в смущении свои перебинтованные головы.

Добродетельная Нелли продолжала свой путь.

Зачем я торчал там? Несмотря на страстное желание предаться совсем другому занятию, что-то меня удерживало... что-то необъяснимое в поведении собаки – что конкретно, я и сам никак не мог понять.

В этот момент я услышал мотив марша, донесшийся на крыльях ветра из Фонваля. Мои пальцы машинально выстукивали ритм на ветке дерева, и я заметил, что Нелли ускорила шаг и пошла в такт музыке.

Я вспомнил, как Эмма говорила, что собака умела проделывать всякие цирковые штуки. Интересно, это тоже был один из трюков, которым Макбелл научил свою собаку?.. Я был уверен, что в отсутствие дрессировщика собака едва ли может проделывать такие фокусы, и я сомневаюсь, чтобы слуховое впечатление могло вызвать у животного такие машинальные движения, которые всегда были свойственны только нам, людям, и являются у нас следствием более сложных привычек, чем инстинкт.

Музыка прекратилась вместе с порывом ветра... Собака села, подняла глаза и... увидела меня... Ах черт возьми, она залает, подымет тревогу!.. Ничего подобного! Она смотрела на меня без страха, без гнева, но с таким выражением в глазах... которого я никогда в жизни не забуду. Потом, опустив свою большую голову, она начала тихо, тихо стонать, делая лапой какие-то жесты. Затем она снова стала бродить по двору, все время тихо ворча и поглядывая на меня очень осторожно, точно хотела сообщить мне что-то, не привлекая внимания немцев. (Само собой разумеется, это просто-напросто описательный прием, но все-таки можно было вообразить, что собака пыталась что-то сказать, до того ее жалобный вой модулировал звуки, похожие на слова; получалось что-то вроде длинной гортанной фразы, в которой все время

повторялось «эк-буал, экбуал». Все вместе напоминало что-то вроде исковерканного английского.)

Появление трех помощников прекратило это представление. Они шли через двор, и все собаки во главе с Нелли спрятались. Вильгельм, проходя мимо псарни, бросил туда сквозь решетку кусок покрытого волосатой шкурой мяса. Кусок тяжело шлепнулся: это была мертвая обезьяна. Немцы вошли в правый дом, из трубы которого вскоре появился дым.

Тогда одна за другой собаки подошли и стали обнюхивать шимпанзе. Бульдог первый вонзил в него зубы, и тотчас же началась свалка; слышно было только глухое и злобное ворчание дерущихся из-за пищи псов. Одна только Нелли лежала на пороге своей будки, положив голову на скрещенные лапы, и смотрела на меня своими прекрасными глазами. Мне показалось, что я открыл причину ее худобы.

После этого в правом здании открылось окно; там я увидел стол, накрытый на три персоны. Дядюшкины помощники собирались завтракать как раз напротив моего дерева. Пора было убираться отсюда.

Тут я совершил непростительную оплошность. Мне следовало бы обязательно отправиться расследовать вопрос о старом башмаке – это ясно даже младенцу. А я уговорил себя, что сделал громадные уступки своему разуму, приняв всевозможные меры предосторожности; что старый башмак наверняка окажется просто-напросто старым башмаком, а вовсе не трупом и даже не закопанной ногой и, наконец, что для великодушного сердца прекрасная женщина должна быть важнее всякой чепухи и вообще всего на свете.

Обманывая самого себя всеми этими рассуждениями, я направился в замок.

* * *

Комната тетушки Лидивины служила местом хранения всякого хлама. Ее можно было принять за гардеробную куртизанки. Несколько ивовых манекенов, одетых в очень изящные платья, представляли сборище кокетливых женщин без голов и без рук. Камин и столики были превращены в выставки модисток; на них лежали те, сделанные из перьев и лент, маленькие или чрезмерно большие шляпки, которые превращаются в шляпы только тогда, когда их водружают на голову. На полу стоял целый батальон туфель и ботинок, надетых на колодки. Повсюду валялась бездна женских безделушек. В воздухе витал тонкий сладострастный аромат – аромат Эммы.

Бедная моя, милая тетушка, я предпочел бы, чтобы ваша комната была гораздо больше осквернена и чтобы мадемуазель Бурдише жила в ней, чем слышать, как она смеется в соседней – в комнате вашего мужа, – потому что из-за этого рушились все мои иллюзии.

* * *

При моем появлении Эмма и Барб остолбенели от изумления. Впрочем, молодая женщина сразу же все поняла и рассмеялась.

Она завтракала, сидя в постели. Одним движением руки она связала в узел свои огненные волосы и сделала себе прическу вакханки. Я увидел при этом движении всю ее руку сквозь широкий рукав; ее рубашка распахнулась, и она даже не подумала поправить ее.

К кровати был придвинут стол, заставленный графинами и блюдами. Барб, прислуживавшая своей хозяйке, нарезала ломтики ветчины, розовой, как мрамор. Моей первой мыслью было, что стол и Барб мне здорово мешают.

Я смотрел на эту белоснежную грудь, на которой там, где начиналось кружево, намечалось розовое пятнышко.

– А Лерн? – спросила Эмма.

Я успокоил ее:

– Раньше пяти не вернется; за это я ручаюсь.

Послышалось ее веселое кудяхтанье, которое говорило о хорошем настроении, а Барб в приливе преданности обрадовалась так шумно и демонстративно, что вся ее фигура приняла в этом участие и все ее прелести радовались каждая отдельно и независимо от других.

Была половина первого. В нашем распоряжении имелось около четырех часов. Я намекнул, что этого очень мало, но Эмма сказала:

– Почему бы нам не позавтракать, мой мышонок?

Так как ничем более интересным – из-за стола и Барб – в этот момент заняться было нельзя, я уселся напротив демуазель.

– Как вам будет угодно, но давайте тогда поспешим, – ответил я просительным тоном.

Она пила. Невнятное выражение согласия было заглушено бокалом и приняло вид смешного ворчания, а ее глаза над хрустальным полукругом сделались насмешливыми и дразнящими.

Она сама накладывала мне на тарелку кушанья своими белыми руками с накрашенными ногтями.

Помимо того что у меня напрочь отсутствовал аппетит, на какое-то время я утратил и способность ясно мыслить. Ничего не лезло в рот, я был не в состоянии вымолвить ни слова. Меня душил Эрос.

Эмма!.. Мы мерили друг друга глазами. Ее ироничный взгляд таил в себе множество обещаний. Она ела спаржу так, точно жадно целовала кого-то. Порой, когда она наклонялась ко мне, сорочка распахивалась, и моему взору представало нечто столь волнующее, что по всему телу, вплоть до кончиков пальцев, пробегали мурашки.

– Эмма!..

Но она уже выпрямилась и сидела, смеясь во все горло, почти голая, радуясь своей красоте, точно громадному счастью, и никогда я не видел, чтобы инстинктивное сознание своей неотразимости выражалось так непосредственно и ярко.

Нет! Мне окончательно расхотелось есть: я не мог проглотить ни кусочка; я решил ограничиться тем, что стану наслаждаться видом Эммы, не настаивая больше ни на чем. Она ела не торопясь, издеваясь надо мною, как я думаю, с определенной целью довести мою страсть до пароксизма.

Наслаждалась она едой, как лакомка. До сих пор у меня еще не было такого удобного случая без помех рассмотреть ее. То, что она демонстрировала в этой теплой, надушенной комнате, было, на мой взгляд, удивительно совершенным и вызывало неодолимое желание познаться со всем остальным. При более интимных сношениях, как говорят, скрытые прелести обыкновенно соответствуют тому, что мы видим до них; я развлекал себя тем, что, разбирая то, что вижу, рисовал себе то, что было скрыто от меня. У Эммы был миленький носик; ярко-пунцовые, полные губы, небольшой рот, который даже молча – молчание, полное содроганий, улыбок и выразительных гримасок, – обещал многое...

Она потянулась. Батист ночной рубашки обрисовал тонкую, гибкую талию и очаровательные округлости.

Резко дернувшись – совершенно произвольно, – я едва не опрокинул столик. Ягодка земляники упала в чашку с молоком.

– Убери все это и уходи, Барб! – приказала Эмма.

Когда служанка ушла, она закуталась в одеяло, будто озябла. На лице ее я прочел такое выражение, словно она только что узнала приятную новость.

Уверен: в обмен на то, что последовало затем, бог любви с радостью отдал бы мне даже свое бессмертие.

* * *

Но Эмма оставалась неподвижной и безжизненной дольше, чем это случается обычно. Ее застывшее тело беспокоило меня своею бледностью, и мне не удавалось разжать ей губы, чтобы влить в рот каплю воды.

Я собирался звать на помощь, когда короткая судорога встряхнула ее. Она глубоко и тяжело вздохнула, в то же время открыла глаза и снова вздохнула, но уже со слабой ласковой улыбкой на устах... Казалось, что ее сознание все еще витает где-то далеко; она смотрела на меня откуда-то издали, с берегов Цитеры, откуда она возвращалась очень медленно.

Охваченный внезапным припадком целомудрия, я прикрыл одеялом ее совершенную наготу...

Эмма молча накручивала на палец локон своей огненной шевелюры. Она приходила в себя – она открыла рот, чтобы заговорить... снежная и огневая статуя сейчас оживет и закончит очаровательным словом изумительный акт.

И она сказала:

– Раз уж старик ничего не знает, пусть так все и остается, хорошо, милый?

Глава 7

Рассказ мадемуазель Бурдише

Эта фраза меня сильно озадачила.

Несколькими минутами раньше я бы даже не обратил на нее внимания: с одной стороны, автор и без того совершил немало вульгарных поступков, с другой – я знал, насколько мало обоснован был обнаруженный ею страх, что дядюшка узнает о нашем грехе... Но вместе с удовлетворением возвращаются наклонность к добродетели и хорошие манеры, приходят угрызения совести и волнения.

И все же, согласно ритуалу подобных встреч, мы внимательно разглядывали друг друга, разбираясь во взаимных впечатлениях. Наши физиономии вполне отвечали тому, что повторяется вот уже тысячи лет: на ее лице отражалась благодарность, мною вовсе не заслуженная; на моем можно было прочесть смешное и глупое выражение гордости. Молчание моей говорящей на аргос Киприды было чрезвычайно приятно. Мне очень хотелось, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Но она нарушила его. К счастью, порой содержание облагораживает форму, и ее выражения сделались менее вульгарными благодаря тому, что ей пришлось говорить о серьезных вещах, которые беспокоили и меня. Она принялась развивать свою мысль.

– Видишь ли, малыш, – сказала она, – раз мы уже дошли до *такого*, право же, бесполезно стараться не повторять этого. Но умоляю тебя, обойдемся без глупостей: пусть все и дальше будет так – в полной тайне! Видишь ли, Лерн... Ты даже не догадываешься, что нам может грозить... главным образом – *тебе*.

Я увидел, что в глубине души она снова переживает какую-то трагедию.

– И какая опасность мне может грозить?

– Хуже всего то, что я и сама не знаю. Я вообще не понимаю ничего из того, что вокруг меня происходит, – абсолютно ничего... кроме разве что следующего: Донифан Макбелл сошел с ума из-за того, что я любила его... и что тебя я тоже люблю.

– Спокойнее, Эмма, спокойнее! Мы теперь союзники – уж вдвоем-то мы как-нибудь выясним правду. Когда ты приехала в Фонваль? И что произошло здесь с тех пор?

Тогда она поведала мне о своих приключениях. Я придал ее повествованию некоторую связность, но на самом деле это был, собственно говоря, диалог, во время которого мои вопросы все время возвращали рассказчицу к главной теме, так как она часто уклонялась в сторону и то и дело останавливалась на никому не нужных и неинтересных подробностях. Кроме того, наш разговор был услажден интермедиями, которые нарушали его самым приятным образом, – драма, прерываемая радостными песнями, – и по этой причине я отказался от мысли передать его во всех подробностях, чтобы избавить себя от воспоминаний о наслаждениях, которых навсегда лишился. Трудно вести последовательную беседу с пылкой любовницей, особенно когда весь ее наряд состоит из одеяла, и если она обладает странной способностью терять сознание и память всякий раз, как напоминаешь ей о себе.

По временам какой-нибудь крик или шум прерывал нашу беседу на полуслове или поцелуе, Эмма вскакивала в ужасе, вспомнив Лерна, да и я не мог удержаться от трепета, видя ее безумный страх, потому что достаточно было бы уха или глаза, приложенного к замочной скважине, чтобы мрачный анекдот превратился для меня в ужасную правду.

Волей-неволей пришлось познакомиться с происхождением и началом карьеры Эммы. Это не имеет отношения к данному повествованию и вполне определяется фразой: «Как брошенный ребенок превратился в падшую женщину». Эмма во время своей исповеди обнаружила искренность, которая в устах менее непосредственной натуры была бы просто цинизмом. С такой же откровенностью она продолжала свой рассказ:

– Я познакомилась с Лерном пять лет тому назад – мне было пятнадцать – в Нантеле, в госпитале, куда я попала. В качестве сиделки? Нет! Я подралась с подругой, с Леони, из-за Альсида, моего мужчины. Ну так что же? Мне нечего стыдиться этого. Он великолепен. Это великан. Тобой, мой малыш, он мог бы жонглировать. Мой пояс был ему слишком узок, даже как браслет... Словом, я получила удар ножом, недурно нанесенный. Впрочем, суди сам.

Она отбросила одеяло и показала мне треугольный побелевший рубец в паху – след когтя этой отвратительной Леони.

– Да-да! Можешь поцеловать его! Я чуть не умерла от этого. Твой дядюшка лечил меня и спас мне жизнь, за это можно поручиться.

В то время твой дядюшка был славный малый и совсем не гордый. Он часто разговаривал со мной. Мне это безумно льстило. Подумай только – главный хирург!.. И он хорошо говорил. Он читал мне нотации насчет моего поведения, точно проповеди в церкви: «Ты вела дурную жизнь, надо перемениться, исправиться» и т. д. И все это он говорил не с отвращением, а серьезно и так убедительно, что мне самой мой образ жизни стал казаться отвратительным, и я на самом деле собиралась отказаться от кутежей и от Альсида... ну, сам понимаешь, когда больна, то не до увлечений и кровь успокаивается...

Ну вот, Лерн и говорит мне в один прекрасный день: «Ты здорова. Ты можешь идти куда хочешь. Но только недостаточно принять решение вести себя хорошо, надо уметь сдерживать свое слово. Хочешь поступить ко мне? Ты сделаешься белошвейкой и будешь работать вдали от твоих старых друзей-приятелей. Но знаешь, все должно быть по чести».

Меня это ошеломило. Я говорила себе: «Ладно, рассказывай. Ты нарочно рассказываешь сказки, чтобы соблазнить меня. Как только я буду у тебя... прощай, платонические отношения. В твоих речах на это не было и намека, но, должно быть, святых больше нет на свете; разве предлагают женщине идти на содержание из любви к искусству?..»

Но все же доброта Лерна, его положение, слава, известного рода шик... труднообъяснимый – все это увеличивало чувство моей благодарности, превращало его в нечто вроде привязанности; ты понимаешь, что я хочу сказать, и я охотно приняла его предложение со всеми последствиями, в которых не сомневалась.

Ну так представь себе – я ошиблась. Оказывается, что святые все-таки существуют. Целый год он меня пальцем не тронул.

Я поехала к нему потихоньку от всех. Мысль о том, что Альсид может меня найти, не давала мне заснуть спокойно. «Не бойся, – сказал мне Лерн, – я больше не работаю в госпитале; я буду работать над своими открытиями. Мы будем жить в замке, и никто не станет разыскивать тебя там».

И в самом деле, он сразу привез меня сюда.

Ах, нужно было тогда видеть замок и парк: садовники, прислуга, коляски, лошади... всего было вдоволь. Я была страшно счастлива.

Когда мы приехали, рабочие заканчивали пристройки к оранжерее и лаборатории. Лерн сам наблюдал за всеми работами. Он все время шутил и без усталости повторял: «Вот хорошо будет здесь работать. Вот хорошо-то будет» – таким же тоном, как школьники кричат: «Слава богу, наконец-то каникулы!»

Привезли мебель для лаборатории. Много туда втащили ящиков, и, когда все было установлено, Лерн как-то утром уехал в Грей в большой повозке.

Аллея была тогда еще совершенно прямая. Я, как сегодня, вижу твоего дядю вместе с пятью спутниками и собакой, встречать которых он ездил на вокзал: это Донифан Макбелл, Иоганн, Вильгельм, Карл, Отто Клоц – ты помнишь, этот большой, черный, на карточке – и Нелли. Шотландец присоединился к немцам в Нантеле. Мне кажется, до того он не был знаком с ними.

Помощники должны были жить в лаборатории, а Макбеллу, так же как и доктору Клоцу, отвели комнаты в замке.

Клоца я сразу стала бояться. А между тем он был красивый и сильный мужчина. Я не могла удержаться, чтобы не спросить у Лерна, откуда он выкопал этого каторжника. Мой вопрос очень его насмешил. «Успокойся, – ответил он мне, – тебе повсюду мерещатся сообщники господина Альсида. Профессор Клоц приехал сюда из Германии. Это очень уважаемый и почтенный ученый. Это не помощник, а сотрудник, главная задача которого – контролировать работу своих соотечественников...»

* * *

– Прости, Эмма, – сказал я, перебивая ее. – Такой вот вопрос: мой дядюшка говорил в то время по-немецки и по-английски?

– Насколько мне помнится, чуть-чуть. Он ежедневно упражнялся в этом, но без особых успехов. Он начал говорить на этих языках бегло ни с того ни с сего, сразу, около года спустя после приезда этих господ. Впрочем, помощники и тогда знали несколько французских слов. Клоц знал больше, даже и по-английски немного говорил. Ну а что касается Макбелла, то он владел только родным языком и не понимал ничего. Лерн мне рассказывал, что очень неохотно согласился принять его в Фонваль, да и то только по настоятельной просьбе его отца, которому непременно хотелось, чтобы молодой студент позанимался некоторое время под руководством Лерна.

– В какой комнате ты тогда спала, Эмма?

– Рядом с бельевой. Далеко от комнат Макбелла и Клоца, – добавила она с улыбкой.

– А в каких отношениях они находились между собой, все эти люди?

– На вид казались добрыми друзьями. Были ли они искренни? Не думаю, да и нет ничего удивительного в том, что с самого начала четверо немцев невзлюбили Макбелла. Я заметила несколько косых взглядов. Во всяком случае, Донифана это не должно было беспокоить, так как он занимался не с ними в лаборатории, а в замке и оранжерее. Впрочем, вначале он был занят главным образом изучением французского языка по книжкам... Мы часто встречались, потому что мне приходилось много раз за день проходить по всем комнатам замка. Он был предупредителен, почтителен; конечно, изъяснялись мы знаками, и я вынуждена была быть любезной...

Мне кажется – нет, я уверена, – что из-за этого и возникла скрытая антипатия между ним и Клоцем. Я скоро заметила это: если они оба прекрасно скрывали свои чувства друг к другу, то Нелли, не способная к притворству, никогда не упускала случая порычать на немца; и, на мой взгляд, это было одним из доказательств того, что в воздухе чувствовалась гроза. Но твой дядюшка ничего не замечал, и я не смела нарушать его покой своими жалобами, да еще и необоснованными. Я не смела... а с другой стороны, это соперничество вовсе не было мне неприятно. Несмотря на все данные мною Лерну обещания жить скромно, ревнивое тяготение обоих соперников ко мне в конце концов действовало и на меня возбуждающе, и я никак не могла сообразить, какова будет развязка, как вдруг наша участь переменилась.

Прошел год с тех пор, как мы там обосновались в Фонвале. Стало быть, это произошло четыре года тому назад...

– Вот как!.. – воскликнул я, не сдержавшись.

– Что с тобой?

– Ничего, ничего! Продолжай.

– В общем, четыре года тому назад Донифан Макбелл уехал в Шотландию, чтобы провести у родителей несколько недель отпуска. На следующий день после его отъезда утром Лерн покинул меня, сказав: «Еду в Нантель с Клоцем. Пробудем там весь день».

Вечером Клоц вернулся один. Я поинтересовалась, где Лерн. Он ответил, что профессор, похоже, получил какое-то важное сообщение, потребовавшее его поездки за границу, и его не будет дней двадцать. «Но где он?» – спросила я. Клоц ответил не сразу. «В Германии, – сказал он наконец. – Все это время мы будем здесь одни, Эмма». Он обнял меня за талию и пристально заглянул в глаза.

Я не могла объяснить себе поведение Лерна, который, вроде как заботясь о моей добродетели, без всякого предупреждения бросил меня на произвол иностранца. «Скажите, я вам нравлюсь?» – спросил Клоц, бесцеремонно притянув меня к себе.

Я уже тебе говорила, Николя, что он был большой и сильный. Я ощутила тиски его мускулов и почувствовала себя против своей воли взятой в плен. «Ну, слушайте же, Эмма, будем любить друг друга, не откладывая этого в долгий ящик, потому что скоро я вас покину навсегда и вы меня больше никогда не увидите».

Я не трусиха. Говоря между нами, меня ласкали руки, только что совершившие убийство; я испытала страсть, похожую на убийство; мои первые любовники любили меня, точно резали на куски... они были тяжелы на руку и не стеснялись со мной, в их глазах я была жертвой; не знаешь, чего испытываешь больше: страха или удовольствия. Это неприятно. Но все это пустяки. Ночь, проведенная с Клоцем, – страшная ночь. Это было сплошное насилие. Я навсегда сохраню воспоминание об этом ужасе и усталости.

Проснулась я довольно поздно. Его рядом уже не было, и больше я с тех пор его никогда не видела.

Прошло три недели. Твой дядюшка не писал, его отсутствие затянулось.

Вернулся он совершенно неожиданно. Я даже не видела, как он приехал. Он сказал мне, что, как только вернулся, сразу же отправился в лабораторию. Я увидела его, когда он выходил из нее в полдень. Его бледность огорчила меня. Казалось, что на его плечи свалилась большая тяжесть, и он сгорбился. Он двигался медленно, точно шел позади похоронной процессии. Что он узнал? Что он сделал? Что за переворот произошел с ним?

Я потихоньку стала его расспрашивать. Он говорил с трудом, подбирая слова, с акцентом той страны, из которой вернулся. «Эмма, – сказал он, – я надеюсь, что ты меня любишь?» – «Вы же знаете, мой дорогой благодетель, что я предана вам душой и телом». – «Меня интересует только тело. Чувствуешь ли ты себя способной любить меня... по-настоящему?.. О, – добавил он насмешливо, – я знаю, я не молод, конечно, но...»

Что ему было ответить? Я сама не знала. Лерн нахмурил брови. «Хорошо, – отрезал он, – с сегодняшнего вечера моя комната будет твоею».

Я тебе должна признаться, Николя, что такой порядок вещей показался мне более естественным. Но я и не подозревала, что Фредерик Лерн может быть таким подозрительным и вспыльчивым, каким он вернулся. Он сжал мне руки до боли, глаза его странно блестели, и он стал кричать во все горло: «Теперь довольно смеяться! Довольно шуток и всяких штучек! Я прекрасно знаю, что здесь происходило. Я видел, как эти подлипалы приставали к тебе. Но ты теперь принадлежишь только мне. Я избавился от Клоца. А что касается Донифана Макбелла, то берегись! Если он будет продолжать в том же духе, не завидую ему. Берегись!»

Потом Лерн, распустив прислугу, нанял вместо всех бедняжку Барб, а затем распланировал и разбил аллеи лабиринта.

В заранее назначенный день Макбелл, ошеломленный изменениями, которые произошли в лесу, вернулся в замок в сопровождении своей собаки. Лерн пришел к нему, когда он еще и сундуков не разобрал, и довершил его изумление, устроив ему отвратительную сцену с такими жестами и таким свирепым выражением лица, что у Нелли шерсть встала дыбом и она зарычала, оскалив зубы.

Что должно было быть, то и случилось. Из уважения к возрасту и положению Лерна мы, наверное, не осквернили бы его дома, как говорится. Но тут шла речь о том, чтобы отомстить злобному старику, тирану, – мы это сделали.

А профессор с каждым днем становился все раздражительнее и нетерпимее. Он все время находился в невероятно возбужденном состоянии, никуда не выходил, работал без передышки; может, он и был гением, но что он был ненормальным, это не подлежит сомнению. Какие доказательства? Ну хотя бы то, что он терял память. Он многое забыл и часто расспрашивал меня о собственном прошлом, сохранив ясную память только в области науки.

Да, пришел конец веселью! И моему счастью с ним тоже пришел конец. За всякую мелочь, пустяк Лерн ругал меня без конца; при первом подозрении он меня избил. Я не отрицаю, что не в претензии ни за ругань, ни за побои, но только в том случае, если ругают до слез, а бьют до крови, если ругает и бьет меня любимый человек, если кулаки его могучи и при случае сумели бы добить до конца. Я заявила своему хилому сокровищу, что с меня довольно одиночества и нищеты. «Я хочу уехать», – сказала я ему. Ах, малыш, если бы ты видел, что тут произошло. Он ползал за мной на коленях и целовал мои ноги. «Как, не может быть! Эмма, останься! Умоляю тебя! Подожди!.. Подожди еще только два года. Потом мы уедем отсюда вместе и я окружу тебя царской роскошью; я буду богат, очень богат... Потерпи... Я знаю, ты не создана для того, чтобы вечно торчать здесь, как в монастыре. Но поверь мне, я на пути к грандиозному богатству – и все это для тебя... Подумай, тебе придется провести только два года в скромной мещанской обстановке, чтобы потом жить как императрица...»

Восхищенная, покоренная, я так и осталась в Фонвале.

Но проходили годы, срок давно прошел, а роскоши не было и в помине. Я все ждала и ждала, видя, насколько Лерн верит в себя и в свою гениальность. «Не падай духом, – говорил он мне, – мы уже близки к цели. Все будет, как я и предсказывал: ты станешь миллиардершей...» И чтобы рассеять мое скверное настроение и чем-то заполнить мой досуг, он по несколько раз в год принялся выписывать для меня из Парижа модные платья, шляпы и всякие безделушки. «Учись их носить, повторяй свою роль и готовься к будущему...»

Так, между Лерном и Макбеллом, я прожила три года: один вел себя со мной грубо, оскорблял меня, потом обожал, как Мадонну, осыпал бесполезными украшениями, другой ловил украдкой то тут, то там, пользуясь удобным случаем, диваном или ковром.

Затем твой дядюшка уехал в продолжительное путешествие. Он отсутствовал два месяца, на которые спровадил к родителям и Макбелла – якобы в отпуск.

Вернулись они в один и тот же день – кажется, заранее договорились встретиться в Дьеппе.

Лерн возвратился мрачный, расстроенный. «Тебе придется еще подождать, Эмма». – «В чем дело? Что-то не так?» – «Говорят, мои изобретения недостаточно усовершенствованы... Но опасаться нечего, я своего добьюсь».

И он с удвоенным рвением принялся за свои лабораторные опыты.

* * *

Тут я снова прервал рассказ Эммы.

– Прости, – сказал я. – А Макбелл тоже тогда работал в лаборатории?

– Никогда! Лерн поручал ему что-то там делать в оранжерее, где запирали его, мой милый друг! Бедный Донифан! Уж лучше бы он не возвращался сюда. Макбелл вернулся из Шотландии только из-за меня. Так и дал мне понять на ломаном французском: «*Pour vous! Pour vous!*»⁹

⁹ Из-за вас! Из-за вас! (фр.)

Больше он ничего не умел сказать. Из-за меня? Боже правый! Чем он стал для меня спустя пару недель?!

Слушай, вот тут и началось безумие.

Зима. Идет снег. После завтрака Лерн дремлет в кресле в маленькой гостиной около столовой; во всяком случае, он делает вид, что дремлет. Донифан бросает на меня выразительный взгляд. Якобы для того, чтобы забавы ради прогуляться по снегу, он выходит в прихожую. Слышно, как он что-то насвистывает во дворе. Он удаляется. Я иду в столовую, точно для того, чтобы помочь горничной убрать со стола. Через несколько секунд ко мне присоединяется Донифан, вошедший через дверь, которая находится против входа в маленькую гостиную; дверь в гостиную осталась открытой, чтобы нам слышно было малейшее движение Лерна. Я бросаюсь к нему на шею, он обвивает меня руками. Молчаливый поцелуй...

Вдруг Донифан позеленел. Я слежу за направлением его взгляда... Над ручкой двери, ведущей в гостиную, прикреплена стеклянная пластинка, знаешь, для того чтобы на двери не оставалось следов от пальцев, – и в глубине этого темного зеркала я вижу глаза Лерна, неотступно наблюдающие за нами.

Вот он уже бросился на нас... У меня ноги подкашиваются. Макбелл маленького роста. Лерн подмял его под себя. Тот отбивается. Кровь течет. Твой дядюшка озверел – он пускает в ход ноги, ногти, зубы... Я кричу, тащу его за одежду... Вдруг он поднимается на ноги. Макбелл в обмороке. Тогда Лерн разражается диким хохотом, взваливает его на плечи и уносит по направлению к лаборатории. Я продолжаю кричать, и тут мне приходит в голову позвать собаку. «Нелли, Нелли!..» Собака прибежала, я ей показываю на удаляющуюся группу, и она бросается вслед за нею в тот момент, когда Лерн исчезает со своей ношей за деревьями. Она тоже исчезает. Я прислушиваюсь, слышу лай Нелли. И вдруг все смолкает – слышно только шуршание падающего за окном снега.

Лерн оттащил меня за волосы. Но после этого ему пришлось целый день меня уговаривать, и лишь вера в его слова и надежда на блестящее будущее удержали меня от того, чтобы немедленно сбежать.

А он, убедившись воочию, что я не была ему верна, полюбил меня еще более горячо.

Так и тянулись дни, один за другим.

Я почти не смела надеяться, что Макбелла постигла та же участь, что Клоца, – изгнание. Ни он, ни его собака не появлялись больше. Наконец профессор попросил меня велеть приготовить желтую комнату для шотландца. «Значит, он жив?» – необдуманно спросила я. «Наполовину, – ответил Лерн, – он сошел с ума. Сначала он считал себя богом, потом лондонским Тауэром; теперь он воображает, что он собака, завтра, вероятно, он выдумает что-нибудь новое». – «Что вы с ним сделали такое?» – «Милая моя, – воскликнул профессор, – с ним ничего не сделали! Запомни хорошенько мои слова и прикуси язычок, если, кроме вздора, он ничего молоть не может. Когда я унес Макбелла после нашей драки в столовой, я сделал это, чтобы полечить его, – ведь ты сама видела, что он был в обмороке. При падении он сильно расшиб себе голову; вот причина его раны и сумасшествия. И все. Поняла?»

Я промолчала, хотя была убеждена, что если твой дядюшка не прикончил Донифана, то только из боязни ответственности перед его семьей и судебного преследования.

В тот же день они привезли Макбелла обратно в замок. Голова его была вся в повязках. Меня он не узнал.

Но я продолжала его любить и тайком навещала.

Он быстро выздоровел, но из-за того, что его держали взаперти, он сильно потолстел. Между Макбеллом на фотографической карточке и Макбеллом желтой комнаты осталось так мало сходства, что тебе даже и в голову не пришло бы, что это один и тот же человек.

– Эмма, – проговорил я чуть слышно, – возможно ли, что ты ласкала этого идиота?

– Разве любят только за ум? Наоборот, я даже читала в каком-то романе, что императрица Мессалина, женщина очень страстная, терпеть не могла поэтов. Макбелл...

– Ах, замолчи, ради бога!

– Глупенький! Ведь теперь ты мой возлюбленный, ты один...

«Вот уж не знаю!» – подумал я, а вслух сказал:

– А насчет Клоца тебе ничего не известно? Какую участь мог уготовить мой дядюшка *ему*? Ты говорила, что он его отослал...

– Я всегда была убеждена в том, что профессор его выгнал. В этом меня убедили его поведение перед отъездом и то, как вел себя Лерн по возвращении из Германии.

– У Клоца была семья?

– Кажется, он сирота и холост.

– А сколько времени пробыл в лаборатории Макбелл?

– Недели три; может, месяц.

– И до происшедшей с ним перемены он оставался все тем же блондином? – спросил я, вернувшись к своему первоначальному предположению.

– Ну конечно, а как же?

– А что сделали с Нелли?

– На следующий день после драки я слышала, как она испускает душераздирающие стоны, по-видимому, из-за того, что ее разлучили с хозяином. Теперь она в псарне вместе с другими собаками, где, по словам твоего дядюшки, «ей самое место». Ей удалось вырваться оттуда лишь как-то недавно вечером. Может, ты ее слышал? Бедняжка Нелли, она так быстро разыскала Макбелла!.. Теперь часто скулит. Не слишком-то весело ей живется.

– И что ты думаешь обо всем этом? Что тут так тщательно скрывают? Где правда? Допускаешь ли, что сумасшествие могло развиваться вследствие падения и ушиба?

– Почему мне знать? Все может быть. Но мне кажется, в лаборатории происходит нечто столь ужасное, что при виде этого вполне можно сойти с ума. Донифана туда никогда не пускали. Должно быть, он увидел там какую-то гнусность.

Я вспомнил о шимпанзе и об ужасном впечатлении, произведенном на меня его смертью. Эмма могла быть права. История с обезьянкой подтверждала ее гипотезу. Но может быть, вместо того чтобы искать разгадку каждой тайны в отдельности, правильнее было бы перенестись на четыре года назад, вернуться к той критической точке, в которой сошлось столько странностей? Не вернее ли было исследовать то загадочное время, когда сразу захлопнулось столько дверей, чтобы найти один общий ключ от всех?

* * *

Из-под стеганого одеяла высунулась изящная бело-розовая ножка, блеснувшая на светло-желтых шелках, словно драгоценность в ларчике.

– Черт возьми, мадемуазель, неужели вы пользуетесь для ходьбы этой маленькой очаровательной штучкой с полированными и яркими, будто японские кораллы, ногтями? Этой подвижной и боящейся щекотки игрушкой, пугающейся кончика усов?.. Какая неосторожность!..

Маленькая ножка вернулась в свое большое саше. Но как ни мила, как ни быстра, как ни очаровательна была эта ножка, по закону парадокса она напомнила мне о другой: о той ноге, которая торчала из травы, – я был убежден теперь, что там был кто-то зарыт, на этом проклятом кладбище – на этой светлой лужайке.

И мне показалось, что я один во мраке ночи, где меня на каждом шагу подстерегают опасности и засады.

– Почему бы нам не сбежать?

Эмма потрясла своими локонами менады, отвергая мое предложение.

– Мне это уже предлагал Донифан... Нет! Лерн обещал меня озолотить. К тому же в день твоего приезда он поклялся, что убьет меня, если я его обману или сбегу. Я давно уже знаю, что он может сдержать свое первое обещание, а с некоторого времени чувствую, что способен исполнить и второе.

– Действительно, когда он представлял нас друг другу, я прочел в твоих глазах безумный страх смерти.

– Да и потом, – продолжала она, – мы можем скрыть нашу любовь, но не сможем утаить бегство. Нет-нет! Останемся здесь и будем смотреть в оба. Главное – соблюдать осторожность, но давай и не терять времени даром!

А так как времени оставалось немного, то мы им и воспользовались.

* * *

Когда я покинул мою ненасытную любовницу, чтобы направиться обратно в Грей-л'Аббей, настенные часы уже показывали половину пятого.

Эмма была не в состоянии проститься со мной: мурлыча и потягиваясь, словно кошечка, она лениво возвращалась в реальность из страны любовных грез.

Глава 8

Безрассудство

Я на полной скорости помчался в Грей. Праздник был в самом разгаре, и развеселившаяся толпа осыпала меня оскорблениями и насмешками.

На вокзальных часах было ровно пять. Я воспользовался свободным временем, чтобы подготовиться к дядюшкиному осмотру. Мне хотелось, чтобы он легче попал в те сети, которые сам мне расставил, требуя изготовить имевшуюся у меня запасную часть. Нарядившись в синюю блузу механика, измазав лицо и руки, вытащив из ящика инструменты и перерыв их все, я вынул новый карбюратор, ударил его в нескольких местах молотком и перепачкал маслом. Несколько царапин пилкой, проведенных где попало, окончательно придали ему вид вещи, только что вышедшей из кузницы.

Поезд уже подходил к перрону.

Когда Лерн похлопал меня по плечу, я якобы закручивал накрепко завинченную гайку.

– Николя!

Я обернулся к дядюшке с перемазанной физиономией, которой постарался придать самое угрюмое выражение.

– Уже заканчиваю, – пробормотал я. – Славно вы придумали, ничего не скажешь! Заставить меня работать впустую!

– И что, она поедет – эта твоя коляска?

– Да, только что проверял. Как видите, мотор еще теплый.

– Хочешь поставить на место те детали, которые я увозил с собой?

– Сохраните их на память об этом чудесном деньке, дядюшка... Ну ладно, садитесь, а то мне уже надоело торчать здесь.

Фредерик Лерн выглядел раздосадованным.

– Ты же на меня не злишься, Николя?

– Не злюсь, дядюшка.

– Сам понимаешь, у меня были на то весьма уважительные причины. Позднее я тебе все объясню.

– Как вам будет угодно. Но знай вы меня лучше, были бы не таким скрытным... Впрочем, ваше сегодняшнее поведение вполне отвечает заключенному нами соглашению, так что мне не на что жаловаться.

Он сделал уклончивый жест:

– Главное, ты на меня не сердишься. Вижу, в общем и целом ты правильно смотришь на вещи.

Очевидно, Лерн предполагал, что обидел меня, и боялся, чтобы я, выведенный его поступком из себя, не решил уехать из Фонваля и не сообщил бы кому следует, что в замке творятся какие-то темные делишки. На самом деле присутствие в его доме чужого, который имел возможность удрать в любое время, должно было служить причиной постоянного беспокойства для дядюшки. Мне казалось, что, будь я на его месте и будь я вынужден принять у себя родственника, я предпочел бы сделать его как можно скорее своим сообщником, чтобы тем самым принудить к молчанию.

«А в самом деле, кто может поручиться, – размышлял я, – что дядюшка уже не подумывает об этом? Он еще долго и мучительно будет разбираться в моем характере, установив за мной слежку, до того неопределенного – а может быть, и воображаемого – срока, когда он решится посвятить меня в свою тайну. Не пойти ли мне навстречу его планам? Может быть, он с радостью откроет мне все и примет меня в число своих учеников и его тайна объединит нас, сделав участниками некоего заговора?..

Не думаю, что моя попытка пойти ему навстречу вызовет его недовольство, ведь в обоих случаях, говорит ли он искренне или нет, утверждая, что привлечет меня к участию в своем грандиозном предприятии, у него только два выхода: или мой отъезд, угрожающий неприятными последствиями в случае доноса, или мое сообщничество.

Но Эмма и тайна удерживают меня в замке. Значит, я не уеду.

Следовательно, остается только притворное сообщничество, которое даст мне возможность скорее открыть тайну; а кто же, если не Лерн, может посвятить меня в нее, раз Эмма ничего не знает, а всякая разгаданная мною загадка ведет к другой, еще более сложной?

Если бы дядюшка был прозорлив, то, конечно, не медлил бы с признаниями.

Может быть, он к этому и стремится? Но как его поторопить?

Я думаю, надо ему намекнуть, что его секреты не испугают меня даже в том случае, если они преступны. Следовательно, надо притвориться человеком решительным, которого не страшат противозаконные действия и который не станет доносить, а скорее сделается соучастником. Да! Это так! Великолепно! Но для этого нужно заставить Лерна на месте преступления и заверить его, что подобный поступок нисколько меня не ужасает и что я сам готов совершить нечто подобное... Ах, черт возьми! Николя! Да воспользуйся случаем! Дай ему понять, что ты знаешь об одном из его преступлений, и заверь в том, что не только одобряешь его, но даже готов помогать ему. Тогда, после такого заявления, он растает и выложит тебе всю правду, тут-то все и откроется... Но все же будем действовать с хитростью и подождем, пока дядюшка не придет в хорошее расположение духа, и узнаем прежде, не поведает ли нам чего-нибудь старый башмак».

* * *

Так я рассуждал, везя Лерна обратно в Фонваль. Удовлетворение плотской страсти истощило, по-видимому, мой мозг; эти мысли казались мне разумными и ясными, тогда как в действительности я был сильно утомлен... Очевидно, под влиянием таинственной обстановки преступления Лерна, которые до сих пор ничем не подтвердились, заполняли мои мысли и представлялись ужасными и бесчисленными. Я упустил из виду, что он и на самом деле мог вести свои исследования тайком с какой-нибудь коммерческой целью и имел все основания скрывать их. Снедаемый желанием удовлетворить свое любопытство и усталый, я уговорил себя, что придумал удивительно тонкий план. Я не рассчитал тяжести подложного признания, которое мне нужно было сделать прежде, чем я получу что-нибудь взамен.

Подумай я над этим тщательнее, я увидел бы, насколько опасен мой план. Но коварная судьба устроила так, что дядюшка, довольный моим ответом и тем, что я так правильно все понимаю, совершенно неожиданно пришел в необыкновенно хорошее расположение духа. Я решил, что более благоприятного случая может не представиться, и ухватился за него обеими руками.

* * *

Как обычно, восхищенный машиной, дядюшка заставил меня произвести в лабиринте ряд сложных маневров, так что размышлял я, выписывая самые разнообразные кривые.

— Грандиозно, Николя! Повторюсь, этот автомобиль — настоящее чудо! Зверь, да и только! Великолепно устроенный зверь — возможно, даже наименее несовершенный из всех! И кто знает, сколь высоко его вознесет прогресс? Сюда бы искорку жизни, чуть поменьше спонтанности, крошечку мозга — и получилось бы прекраснейшее на земле создание! Да в определенном смысле даже лучше нас, потому что, если помнишь, я тебе уже говорил: автомобиль

бессмертен и его можно усовершенствовать, а этих преимуществ физическое естество человека, к сожалению, лишено.

Все наше тело обновляется почти целиком, Николя. Твои волосы, – (почему, черт его побери, он постоянно говорил о волосах?), – твои волосы не те, что были в прошлом году, например. Но они появляются снова – другими: темнее цветом, старше и в меньшем количестве, тогда как автомобиль меняет свои органы в каком угодно количестве и всякий раз молодеет, получая новое сердце, новые кости, установленные более удачно и с большей способностью к сопротивляемости, чем в предыдущий раз.

Так что и через тысячу лет автомобиль, не переставая совершенствоваться, будет так же молод, как и сегодня, если он вовремя заместит свои использованные части другими, новыми.

И не говори мне, что это будет не тот же самый, раз все его части заменены новыми. Если бы, Николя, ты возразил мне это, то что же ты должен сказать о человеке, который во время своего бега к смерти – то, что он называет своею жизнью, – подвержен таким же радикальным переменам, но в обратном порядке?

Тебе пришлось бы в таком случае вывести странные заключения: «Тот, кто умирает пожилым, уже не тот, кем он родился. Тот, кто только что родился и должен прожить очень долгую жизнь, никогда не умрет. Во всяком случае, он не умрет сразу, а постепенно, рассеиваясь на все четыре стороны света в виде органической пыли за долгий промежуток времени, в течение которого так же постепенно и медленно на месте его тела образуется другое тело. Это другое тело, рождение которого неопределимо нашими глазами, развивается в каждом из нас в то самое время, как первое постепенно разрушается, и никто этого не подозревает. Оно заступает место первого день за днем, изменяясь в свою очередь беспрестанно в зависимости от мириад умирающих и вновь рождающихся клеточек, из которых оно состоит, оно и есть то тело, которое мы увидим умирающим».

Вот какие ты должен был бы вывести заключения, которые многим показались бы правильными: эти последние добавили бы: «Кажется, будто дух остается неизменным во время этих эволюций тела, но это еще не доказано, так как хотя в чертах старика и можно иногда с трудом узнать черты ребенка, но душа порой так меняется, что мы сами не себя не узнаем. А потом, почему бы и вещество мозга не могло бы возобновляться молекула за молекулой, не нарушая течения наших мыслей, если возможно переменить один за другим элементы в вольтовом столбе, не прерывая ни на секунду электрического тока?»

Да и в конце концов, так ли человеку важно, что он собой представляет *in extremis*?¹⁰ И какую пользу принесло бы нетленным автомобилям, развитием и усовершенствованиями которых руководит человек, если бы они сохранили неизменными свои составные части навеки? Да это же сущий вздор! Разве они стали бы от этого более замечательными, эти и без того почти живые железные колоссы?

Уверяю тебя, Николя, если бы автомобиль каким-нибудь чудом приобрел независимость, человек мог бы спокойно собирать чемоданы. Эра его господства подошла бы к концу. На земле наступило бы царство автомобиля точно так же, как до человека господствовал мамонт.

– Да, но этот владыка всегда бы зависел от собравшего его человека, – рассеянно возразил я, поглощенный собственными размышлениями.

– Прекрасный аргумент – не поспоришь! Но разве мы сами не являемся рабами животных и даже растений, которые поддерживают само существование нашего «устройства» мясом и паренхимой?¹¹

¹⁰ В последний момент жизни (*лат.*).

¹¹ *Паренхима* – главная функционирующая ткань внутренних органов, отвечающая за поддержку жизненно важных процессов пищеварения, кровообращения, обмена веществ.

Дядюшка был в таком восторге от своих парадоксов, что выкрикивал их во весь голос, нетерпеливо ерзал на своем узком сиденье и лихорадочно размахивал руками, точно вылавливал мысли из воздуха.

– До чего же блестящая идея, дорогой мой племянник, пришла тебе в голову – притащить с собой эту машину! Видеть ее – сплошное удовольствие! Ты должен будешь научить меня управлять этим зверем. Я буду погонщиком этого мамонта грядущих времен!.. Ха-ха-ха!

Как раз к этому взрыву хохота я завершил свои размышления и из-за него-то и решился на немедленную атаку – увы, совершив безрассудство!

* * *

– Вы сейчас такой забавный, дядюшка! Ваше веселое настроение не может не радовать. Узнаю вас прежнего. Почему вы не всегда такой? Почему не доверяете мне, хотя я заслуживаю вашего полного доверия?

– Да ты и сам знаешь почему: я во всем доверюсь тебе, когда придет время, – уже твердо решил.

– Почему же не сейчас, дядюшка? – И я сломя голову бросился в бездну: – Полноте! Мы же с вами вылеплены из одного теста, только вы меня совершенно не знаете. Меня ничем нельзя удивить. И мне известно куда больше, чем вы полагаете. Вот что я вам скажу, дядюшка: я вполне разделяю ваши взгляды и восхищаюсь тем, *что* вы делаете!

Несколько удивленный, Лерн рассмеялся:

– И что же ты знаешь, мальчишка?

– Я знаю, что не всегда можно и должно руководиться современными понятиями о морали, если затеваешь большое дело. Кто-то совершил ошибку? Уж лучше разделаться с ним самому, и лишение его свободы в таком случае – поступок пусть и не вполне законный, но правомерный. На мысль об этом меня случайно навел один инцидент... Короче, дядюшка, будь я Фредериком Лерном, господин Макбелл едва ли жил бы сейчас в довольстве и удобстве. Говорю же, вы меня плохо знаете.

По тону профессора я сразу же понял, что совершил непростительную промашку. Он бросился оправдываться вкрадчивым, лживым голосом.

– Это уже что-то новое! – пробормотал он. – Богатое же у тебя воображение! Неужели ты действительно такой негодяй, каким себяставляешь? Если так, то тем хуже. Что до меня, то я такими вещами не занимаюсь, племянничек. Да, Макбелл сошел с ума, но я тут ни при чем! Досадно, что ты его видел, – отвратительное зрелище... Бедняга! Но чтобы я – и лишил его свободы? Что за глупости, Николя? Надо же такое придумать! И все же хорошо, что ты поднял этот вопрос: это на многое открывает мне глаза. Обстоятельства и в самом деле против меня. Я все ждал улучшения в состоянии больного, перед тем как дать знать его родным, чтобы его печальный вид произвел на них менее гнетущее впечатление... Но, по-видимому, оттягивать это дальше слишком рискованно; этого требует моя безопасность; несмотря на то что известие причинит им большие страдания, все-таки пора дать им знать. Сегодня же вечером напишу, чтобы они приехали за ним. Бедный Донифан!.. Надеюсь, что его отъезд рассеет твои позорные подозрения? Ты меня очень обидел и огорчил ими, Николя...

Я почувствовал сильное смущение. Неужели я ошибся? Может быть, Эмма солгала? Или Лерн хотел усыпить мою подозрительность?.. Как бы то ни было, но я совершил грубую бестактность, и Лерн – мерзавец ли он или же честный человек, – несомненно, расквитается со мной за это обвинение, все равно – правильно ли оно было или ложно. Это был полный провал, и вся моя добыча заключалась в новых сомнениях – относительно правдивости Эммы.

– Так или иначе, дядюшка, о том, что Макбелл в замке, я узнал совершенно случайно.

– Если ты *случайно* выяснишь еще что-либо такое, что даст тебе повод клеветать на меня, – сурово ответил Лерн, – не забудь сообщить мне: я тотчас же приведу факты в свое оправдание. Но я все же надеюсь, что неукоснительное исполнение взятых тобою на себя обязательств воспрепятствует *случайностям*, которые сводят тебя с сумасшедшими мужчинами... и женщинами.

Мы приехали в Фонваль.

– Я чувствую к тебе большое расположение, Николя, – уже гораздо более мягким тоном сказал Лерн. – Желаю тебе только добра и потому прошу тебя, мальчик мой, во всем меня слушаться.

«Хочет усыпить мою бдительность, – подумал я, – и потому ласков со мной. Нужно быть осторожным!»

– Слушайся меня, – продолжал он медоточивым голосом, – и будь мне союзником без условий. При твоей сообразительности ты сам должен понять нюанс моей мысли. Если я не ошибаюсь, день, в который я смогу посвятить тебя во все, уже недалек. Ты сам увидишь своими глазами то великое прекрасное дело, о котором я мечтаю и в котором я уделю тебе место...

А в ожидании этого, раз ты уже посвящен в историю с Макбеллом, – ну вот тебе доказательство доверия, которого ты требуешь, пойдем со мной навестить его; мы сообща решим, достаточно ли он окреп для того, чтобы его можно было везти по железной дороге и по морю.

Немного поколебавшись, я последовал за ним в желтую комнату.

* * *

Сумасшедший, увидев его, выгнул спину и, что-то ворча, с боязливым видом и злобным взглядом отступил в угол.

Лерн подтолкнул меня вперед. Я задрожал от страха, что он меня здесь запрет.

– Возьми его за руки и вытащи на середину комнаты.

Донифан не сопротивлялся. Доктор осмотрел его со всех сторон, но я заметил, что больше всего он интересовался рубцом. По моему глубокому убеждению, остальной осмотр больного был сделан только для того, чтобы ввести меня в заблуждение.

Какой шрам! Точно разрезанный пополам венец, наполовину скрытый под отросшими волосами. Каким падением, каким ударом и о какой пол можно так пораниться?

– Превосходное состояние здоровья, – произнес наконец дядюшка. – Видишь ли, Николя, в начале заболевания он впадал в бешенство и наносил себе раны. Через пару недель от этого не останется и следа. Его уже можно увезти домой.

Осмотр был закончен.

– Ты ведь тоже, Николя, полагаешь, не правда ли, что мне следует избавиться от него как можно скорее? Выскажи свое мнение – мне важно его знать.

Я поддержал его решение, но любезность дядюшки, на мой взгляд даже чрезмерная, вынудила меня все время быть настороже. Лерн вздохнул:

– Ты прав. Мир так жесток! Пожалуй, напишу сейчас же. Отвезешь письмо на почту в Грей, хорошо? Оно будет готово через десять минут.

Я вздохнул свободнее. Все время, вернувшись в замок, я спрашивал себя, выпустят ли меня оттуда; и до сих пор меня часто терзают кошмары, переноса на крыльях сна в комнату сумасшедшего и запирая в ней. Нет, решительно людоед становится благосклоннее и добрее. Располагая моей свободой, имея возможность запереть меня, он сам, по доброй воле, посылает меня за пределы замка с поручением, так что я имел возможность сбежать и покончить с этим приключением! Имело ли смысл воспользоваться шансом, данным так охотно? Ну, это уж дудки! Я не воспользуюсь им!

* * *

Пока Лерн составлял послание родителям Макбелла, я пошел побродить по парку, где присутствовал при чрезвычайно странном инциденте, – по крайней мере, тогда он произвел на меня именно такое впечатление.

Судьба, как уже не раз можно было заметить, беспощадно издевалась надо мной, играя как мячиком, бросая меня то в сторону спокойствия, то доводя до пароксизма волнения. На этот раз она воспользовалась самым пустячным предлогом, чтобы снова перевернуть в моей душе все вверх дном. Будь я совершенно спокоен, я не стал бы наделять таинственными свойствами то, что, возможно, было просто причудой природы; но мне всюду грезилась чудеса, а кроме того, я никак не мог выбросить из головы фразу Лерна, *что со дня моего приезда на свободе находилось нечто такое, чего там не должно было быть.*

К тому же то, что я увидел на этот раз в парке, – я настаиваю, что это не поразило бы постороннего в такой степени, как меня, – показалось мне связующим звеном, заполняющим тот пробел в работах Лерна, который я заметил: это как бы замыкало круг его исследований и опытов. Все было очень туманно. Конечно, благодаря этим несвязным данным у меня на минуту мелькнула мысль о возможности разрешения всех мучивших меня сомнений, но объяснение это было бы ужасно, если бы оно подтвердилось; да и мысли мои были слишком беспорядочны и нелепы, а главное, недостаточно определенны, чтобы вывести верное заключение. А все же в течение одной секунды впечатление было потрясающей силы, и хотя я и пожимал плечами, вспоминая о нем после вызвавшей его сцены, тем не менее я должен сознаться, что во время нее оно довело меня чуть не до агонии. Сейчас я о ней расскажу.

* * *

Решив употребить имевшиеся в моем распоряжении десять минут на то, чтобы отыскать старый башмак, я направился по аллее, трава которой уже блестела от вечерней росы. Предвестник ночи – вечер покрывал своею тенью парк. Чирикание воробьев слышалось все реже и реже. Кажется, было около половины седьмого. Где-то проревел бык. Проходя мимо пастбища, я насчитал всего четырех животных: Пасифая, пегаая корова, уже не прогуливалась там своей печальной поступью. Впрочем, это не представляло никакого интереса.

Я решительно пробиравшись вперед, как вдруг меня заставил остановиться какой-то шум – слышались приглушенные выкрики, свист, писк.

Заколыхалась трава.

Потихоньку, вытянув шею, я направился к тому месту, откуда доносились звуки.

Я увидел вполне обыденное явление: поединок, из которого испокон веков один из противников должен выйти побежденным, чтобы наплатить победителя своим телом, – поединок между птичкой и змеей.

Змея была довольно большой гадюкой, на треугольной голове которой виднелся такой же формы белый след не то от раны, не то от рубца.

Птичка... представьте себе белоголовую славку, но с той значительной разницей, что у нее была совершенно черная головка: должно быть, какая-нибудь разновидность, которую я описал бы вразумительнее, если бы был лучше знаком с естественной историей.

Соперники стояли лицом друг к другу, но – можете себе представить мое недоумение – наступала птичка, а змея отступала. Славка приближалась внезапными прыжками, с большими промежутками времени, без единого взмаха крыльями, двигаясь, точно загипнотизированная: остановившийся взгляд ее глаз горел тем магнетическим огнем, которым горят глаза собаки,

делающей стойку, а гадюка неловкими движениями отодвигалась назад, зачарованная неумолимым взглядом своего врага и испуская от страха сдавленное шипение...

«Черт возьми, – подумал я, – мир перевернулся вверх ногами или я вижу все шиворот-навыворот?»

Тут из желания стать свидетелем развязки я допустил оплошность, пододвинувшись слишком близко: птичка, заметив меня, улетела, а ее враг скользнул в траву и тоже пропал из виду.

Но охватившее меня нелепое и беспричинное тяжелое чувство страха уже проходило. Я пробрал самого себя как следует. У меня ум за разум заходит... Это просто-напросто проявление чувства материнской любви, и больше ничего. Птичка-героиня, защищающая свое гнездо и своих птенцов. Мы до сих пор не знаем, до чего может дойти героизм матерей... конечно, это так, черт возьми! Иначе что бы это могло быть?.. Какой я простака...

– Эй!

Меня звал дядюшка.

Я вернулся к дому. Но этот случай не давал мне покоя. Несмотря на то что я убеждал себя: в нем нет ничего необычного, Лерну я о нем не сказал.

* * *

А между тем профессор был весьма ласков; у него был вид человека, принявшего важное решение, которым он очень доволен. Он стоял у главного входа в замок с письмом в руке и внимательно разглядывал железную скобку для вытирания ног, вделанную в каменную ступень у входа.

Так как мой приход не отвлек его от этого занятия, я счел вежливым тоже присмотреться к скобке. Она представляла собой железную полосу, которая от многолетнего трения превратилась в острый полумесяц. Я думал, что Лерн, задумавшись, машинально смотрит на нее, не замечая этого.

Действительно, он вдруг спохватился, словно внезапно проснулся:

– Вот, Николя, держи письмо. Прости, что так тебя утруждаю.

– Что вы, дядюшка! Я к этому уже привык: шоферы, кто бы они ни были, всегда исполняют роль посыльных. Злоупотребляя мнением, что автомобилисту всегда приятно прокатиться даже без определенной цели, многие дамы просят их съездить куда-либо, отвезти те или иные спешные, а порой и тяжеловесные грузы. Это установившийся в обиходе налог на спорт.

– Ну ладно, ты славный малый! Поезжай скорее, темнеет.

Я взял письмо – скорбное письмо, которому было суждено наполнить отчаянием души родных Донифана там, в Шотландии, принеся весть о его сумасшествии; благословенное письмо, которое удалило бы от Эммы ее потерявшего человеческое достоинство любовника.

*Сэру Джорджу Макбеллу,
Шотландия, Глазго,
Трафальгар-стрит, 12.*

Почерк, которым был написан адрес, снова заставил меня призадуматься – почерк Лерна он напоминал разве что отдаленно. Большая часть букв, орфография, пунктуация, общий его характер указывали на то, что автор письма не имеет ничего общего с тем Лерном, который писал мне раньше.

Графология никогда не ошибается, ее выводы безусловно точны: автор этих строк переменялся с тех пор, как говорится, «от» и «до».

Но в дни своей молодости дядюшка обладал всеми добродетелями; не был ли он теперь воплощением всех пороков?

И как он, должно быть, теперь меня ненавидел, он, который так сильно меня когда-то любил?

Глава 9

Западня

Отец Макбелла незамедлительно приехал за ним в сопровождении другого своего сына.

С тех пор как Лерн написал ему, в Фонвале ничего нового не произошло. Таинственные занятия продолжались, а меры предосторожности все усиливались. Эмма больше не спускалась; я по сухому стуку ее каблучков соображал, что она расхаживает по комнате, где были расставлены манекены с ее платьями.

Меня терзала бессонница: мысли о том, что там, наверху, проводят ночи вместе садист Лерн и на все согласная Эмма, не давали мне заснуть. Ревность умеет обогащать фантазию: мне рисовались картины, невероятно мучившие меня. Сколько я ни клялся себе, что при первом удобном случае я воплощу с Эммой свои фантастические грезы в жизнь, я никак не мог отделаться от этих эротических видений, и они доводили меня до белого каления.

Как-то мне захотелось пройтись по парку прохладной ночью, чтобы успокоить взбунтовавшуюся чувственность, но входные двери внизу оказались запертыми.

Да, Лерн тщательно меня сторожил!

Тем не менее неосторожность, которую я совершил, сказав ему, что узнал о существовании Макбелла, не имела других последствий, кроме усиленной любезности с его стороны. Во время наших, более частых теперь прогулок он демонстрировал, что мое общество ему становится все приятнее, стараясь смягчить суровость моей затворнической жизни и удержать меня в Фонвале, то ли потому что он на самом деле собирался сделать меня своим компаньоном, то ли чтобы предотвратить мое бегство. Против своего желания я был занят целыми днями. Я терзался от нетерпения. И думал только о силе запретной любви и заманчивости скрытого от меня секрета, но если любовь явилась мне в образе очаровательной недоступной женщины, то тайна, привлекавшая меня не менее сильно, приняла вид старого башмака, столь же недоступного.

Вокруг этой мерзости на резинках вертелись все гипотезы, которые я строил по ночам, надеясь отвлечь свои мысли от ревности. И на самом деле, этот башмак был единственной осязаемой целью, к которой я мог направить свою любознательность. Я заметил, что избушка с садовыми инструментами находилась недалеко от лужайки, так что при случае было бы легко откопать башмак... и прочее, что там окажется. Но Лерн, надев на меня ярмо своей привязанности, держал меня вдали от башмака, как и от оранжереи, от лаборатории, от Эммы – словом, от всего.

Всеми силами своей души я призывал на помощь какой-нибудь случай, какое-нибудь непредвиденное обстоятельство, которое нарушило бы наш *modus vivendi*¹² и дало бы мне возможность обмануть бдительность моей стражи: поездку Лерна в Нантель, какое-нибудь несчастье, если без этого нельзя обойтись, да что угодно, лишь бы мне как-нибудь извлечь из этого пользу.

Этой неожиданной удачей меня одарил приезд отца и сына Макбеллов.

* * *

Получив телеграмму об их скором прибытии, дядюшка сообщил мне об этом с необычайно веселым видом.

¹² Образ жизни (лат.).

Почему он так обрадовался? Неужели и вправду я навел его на мысль об опасности задерживать у себя больного Донифана без ведома его родных? Этому я абсолютно не верил... А кроме того, смех Лерна, если он был и непритворным, все же был гаденького характера... источником его могла быть надежда сыграть какую-нибудь скверную шутку.

И все же, хоть и по совсем иным причинам, я тоже радовался не меньше профессора, и вовсе непритворно, ибо у меня имелись для этого серьезные основания.

* * *

Они приехали утром на повозке, нанятой в Грее; в роли кучера выступал Карл. Они были очень похожи и оба напоминали Донифана, каким я его видел на карточке. Оба держались прямо, были бледны и бесстрастны.

Лерн весьма непринужденно представил меня. Оба пожали мне руку, не снимая перчаток. Казалось, будто и душа у них тоже в перчатках.

Войдя в маленький зал, они молча уселись. В присутствии всех трех помощников Лерн произнес длинную речь на английском языке, при этом его мимика и жесты были очень выразительны. В одном месте своей речи он сделал движение человека, падающего навзничь, поскользнувшись. Затем, взяв обоих под руки, он повел их к главным дверям в парк. Мы пошли следом за ними. Там он показал им на скобу, о которую вытирают ноги, и снова повторил движение поскользнувшегося человека. Не подлежало никакому сомнению, что он объяснял, как Донифан поранил голову, упав ею на серповидную скобу.

Это было уже что-то новенькое!

Все вернулись в гостиную. Дядюшка продолжал разглагольствовать, утирая глаза. Немцы начали громко сморкаться, чтобы скрыть невольные слезы, от которых они будто бы не могли удержаться. Господа Макбеллы, отец и сын, не повели и бровью. Ничто не выдавало их горя или же нетерпения.

Наконец Лерн жестом велел Иоганну и Вильгельму привести Донифана. Он был свежевыбрит, напомажен, с пробором на боку и имел вид молодого лорда, пусть дорожный костюм был ему тесноват, пуговицы едва держались, а слишком узкий воротник душил его и вызывал к располневшему лицу прилив крови. Рубца не было видно благодаря начесанным длинным волосам.

При виде брата и отца в глазах безумца блеснула радость, а апатичное до этого момента лицо осветила преисполненная ласковой доброты улыбка. У меня мелькнула надежда, что к нему вернулся рассудок... Но он опустил на колени у ног родственников и начал лизать им руки, издавая какой-то непонятный лай. Брату не удалось добиться от него ничего большего. Попытки отца тоже не привели к успеху. Вскоре господа Макбеллы поднялись, чтобы попрощаться с Лерном.

Дядюшка заговорил снова. Я понял, что они отказываются от приглашения погостить или хотя бы просто вместе позавтракать. Дядюшка не настаивал, и все вышли.

Вильгельм взвалил сундук Донифана на козлы повозки.

— Николя, — сказал мне Лерн, — я провожу этих господ до станции. Ты останешься здесь с Иоганном и Вильгельмом. Мы с Карлом вернемся пешком. Оставляю дом на тебя! — добавил он веселым тоном и крепко пожал мне руку.

Неужто дядюшка надо мной издевался? Хороша власть под надзором двух сторожей!

Все влезли в повозку: впереди Карл с сундуком, сзади дядюшка и сумасшедший *vis-a-vis*¹³ здоровых Макбеллов.

¹³ Напротив (лат.).

Дверца уже захлопнулась, как вдруг Донифан вскочил с лицом, искаженным от ужаса, точно он увидел перед собой смерть, натачивающую свою косу: из лаборатории слышался вой, который можно было узнать из тысячи... Сумасшедший показал пальцем на лабораторию и ответил Нелли таким продолжительным звериным воем, что мы все побледнели от мучительного ужаса и... ждали конца его, как избавления.

Взгляд Лерна помрачнел, он резким голосом приказал:

– *Vorwärts*¹⁴, Карл! *Vorwärts!* – и бесцеремонно, одним грубым толчком усадил своего ученика на скамью. Повозка тронулась с места. Безумец, забившись в уголок, смотрел вокруг испуганным взглядом, словно под ударом непоправимого несчастья.

Мне вспомнился ужасающий Неизвестный. Он бродил где-то здесь, подбираясь все ближе и ближе; на этот раз я ощутил его прикосновение.

Издалека донесся еще более громкий и протяжный вой, и господин Макбелл, привстав в набирающей скорость повозке, воскликнул:

– *Ho! Nelly! Where is Nelly?*¹⁵

– *Nelly is dead!*¹⁶ – ответил дядюшка.

– *Poor Nelly!*¹⁷ – пробормотал господин Макбелл.

Хотя я и был полным невеждой, все же этот примитивный диалог я понял. Ложь Лерна возмутила меня: сметь утверждать, что Нелли умерла! Что это не ее голос! Какое лицемерие! Ах, почему я не закричал этим флегматичным людям: «Остановитесь! Над вами смеются! Здесь происходит что-то страшное...»? Да, но вот что именно происходит – я и сам не знал, и Макбеллы приняли бы меня тоже за сумасшедшего...

А наемная лошадка плелась медленной рысцой и увозила их к воротам, у которых стояла Барб, чтобы запереть их. Донифан сел на свое место. Против него сидели отец и брат, сохраняя на лицах выражение холодного достоинства; но когда повозка повернулась в воротах, я увидел, как спина внезапно согнувшегося отца задрожала сильнее, чем должна была бы дрожать от встрясок мощеной дороги.

Старые скрипучие ворота захлопнулись.

Я убежден, что и господин Макбелл-брат зарыдал немногим позже.

* * *

Иоганн и Вильгельм ушли.

Не собирались ли они избавить меня от своего общества? Я проследил их путь вдоль пастбища к лаборатории, откуда все еще продолжали доноситься стоны Нелли: они, вероятно, пошли туда, чтобы заставить ее замолчать. И действительно, она замолчала, как только помощники вошли во двор. Но против моего ожидания, они, вместо того чтобы вернуться в замок сторожить меня, закурили сигары и спокойно расположились, по-видимому, для продолжительного отдыха. Сквозь открытое окно их квартиры я видел, как они, сняв пиджаки, расселись в кресла и стали дымить, словно океанские пароходы, приготовляющиеся к отходу от пристани.

Когда их планы сделались для меня очевидными, я, ни на секунду не задумавшись, поступаю ли они так против воли Лерна или же по его желанию, будучи далек от мысли, что они, куря у открытого окна, исполняют его предписания, немедленно отправился к хижине с инструментами.

¹⁴ Вперед! (нем.)

¹⁵ Эй! Нелли! Где Нелли? (англ.)

¹⁶ Нелли мертва! (англ.)

¹⁷ Бедняжка Нелли! (англ.)

Через несколько минут я уже старательно разрывал землю вокруг старого башмака; впрочем, теперь могу сказать: вокруг ступни.

Она торчала носком вверх в середине воронки, в которой сохранились еще следы от ногтей Донифана, хотя было видно, что и до этого кто-то рылся там. Но по этим старым следам, следам от могучих когтистых лап, видно было, что их оставила какая-то огромная собака, по-видимому Нелли, в то время, когда ей не запрещалось свободно и без надзора бродить по парку.

За ступней показалась небрежно зарытая нога. Я старался убедить себя, что это остаток анатомического протеза, но тщетно.

Вслед за ногой появился волосатый торс, а затем и остальные части еле прикрытого одеждой трупа, очень плохо сохранившегося. Его зарыли вкось: голова, помещавшаяся ниже ног, еще не была видна. Дрожащими руками я продолжил раскопки, освободил от земли голову и увидел черные до синевы бакенбарды, густые усы, наконец, все лицо.

Теперь я знал участь всех мужчин, которых видел на групповом фотоснимке. Передо мной лежал наполовину вырытый из могилы Отто Клоц. Я узнал его без малейшего труда; незачем было выкапывать его полностью: наоборот – лучше было снова закопать и постараться скрыть следы моих изысканий.

Однако же я вдруг опять схватился за лопату и начал яростно копать землю рядом с вырытым Клоцем. Появилась округленная, словно шляпка ядовитого гриба, кость с побелевшим и уже ноздреватым апофизом. Неужели тут есть и другие трупы? Ох!

Я рыл и рыл, не отдавая себе отчета; меня лихорадило. Перед глазами мелькали слепящие хлопья, мне казалось, что идет огненный снег.

Я рыл и рыл... и отрыл целое кладбище; но, слава богу, это оказалось кладбище животных: от одних остались только скелеты, другие, иссохшие и тошнотворные, сохранили свои перья и шкурки. Тут были морские свинки, собаки, козы, иногда целиком, иногда отдельными кусками; по-видимому, остальное послужило пищей для своры; целая лошадиная нога – дорогой мой Бириби, твоя нога! – и, наконец, под кучей свежевзрытой земли я нашел куски мяса, завернутые в пегую шкуру: останки Пасифаи.

В нос ударил мерзкий приторный запах. Вконец измученный, я остановился, опершись, посреди этого могильника, на свою оскверненную лопату. Кативший с меня градом пот попал в глаза. Я задыхался.

В это время я машинально взглянул на лежавший передо мной кошачий череп. Я немедленно поднял его. Великолепная головка для трубки: наверху была вырезана круглая дыра... Я поднял другой череп, кролика, если память мне не изменяет, та же странность; я поднял еще и еще, четыре, шесть, пятнадцать: на всех черепах было такое же отверстие, различавшееся только размером. Везде кругом валялись черепа, зиявшие своими глубокими или плоскими, большими или маленькими, но непременно круглыми отверстиями. Казалось, что все эти животные были прикончены ударами резца, послужив для каких-либо жертвоприношений.

И вдруг меня посетила мысль! Жуткая мысль!

Я присел у трупа Клоца и принялся быстро откапывать голову. Спереди – ничего необычного; волосы сбиты. Но сзади, от одного виска к другому, шел такой же ужасный разрез, как и у Макбелла.

Лерн убил Клоца! Уничтожил из-за Эммы таким же способом, каким уничтожал животных и птиц, когда они теряли способность дольше переносить его опыты. То было хирургическое преступление. Я решил, что окончательно раскрыл тайну.

«Судя по всему, – думал я, – Макбелл сошел с ума, видя, какая ужасная смерть ему уготована, но почему дядюшка не прикончил его?.. Должно быть, в разгар работы, за которую Лерн принялся, ослепленный ревностью, он вдруг образумился и испугался возможной ответственности, а также возмездия со стороны семейства Макбеллов. Клоц – тот был сирота и холостяк, как утверждает Эмма, – потому он и здесь. Такая же участь грозит и мне... А может,

и ей, если он застанет нас вместе... Ах, надо бежать, бежать любой ценой; нам с ней остается лишь бегство. Тем более и судьба нам благоприятствует. Представится ли еще такой случай? Нужно сейчас же уходить и добраться до вокзала через лес, чтобы избежать встречи с Лерном и Карлом, которые вот-вот вернутся прямой дорогой... Но лабиринт? Может, воспользоваться автомобилем и переехать их, если попытаются нам помешать? Не знаю... Будет видно... Но успею ли я вовремя добраться до Эммы? Скорее, ради бога, скорее!»

Я помчался во всю прыть, соперничая в скорости с самой смертью, быстрой, легкой и невидимой; два раза падал и снова вскакивал на ноги, хрипя от опасения опоздать.

Вот и замок! Лерна еще нет: его шляпа не висит на своем обычном месте на вешалке в вестибюле. Первая часть плана удалась. Вторая состояла в том, чтобы скрыться до его возвращения.

Я взлетел по лестнице, перепрыгивая через две-три ступени, промчался по коридору, ворвался в гардеробную, оттуда в комнату Эммы.

– Бежим! – пробормотал я. – Бежим, мой друг! Пойдем же! Скорее! Объясню тебе все по дороге... В Фонвале убивают!.. Да что с тобой?.. Что не так?

Она не сдвинулась с места – стояла словно каменная.

– Как ты бледна! Но не бойся...

И только тут я заметил, что она во власти безумного страха, что ее искаженное ужасом лицо с перепуганными глазами и обескровленными губами подает мне знак замолчать, указывая на неизбежность ужасной опасности, совсем близкой, столь близкой, что она не может предупредить меня жестом или словом без того, чтобы находящийся настороже враг не отомстил ей.

А между тем ничего не происходило. Я окинул взглядом комнату. Все в ней показалось мне загадочным: даже воздух был каким-то враждебным – вредной для дыхания жидкостью, волной, которая накроет меня с головой, и я утону. Меня безумно пугало то, что могло возникнуть у меня за спиной. Я уже ожидал появления чего-то мифического.

Убежден, даже сверхъестественное появление Мефистофеля из-под пола нагнало бы на меня меньше страха и ужаса, чем по-буржуазному естественный выход Лерна из шкафа.

– Долго же ты, Николя, – сказал он.

Я был ошеломлен. Эмма рухнула на пол, повалив стоявшие рядом стулья, и с пеной у рта забилась в сильнейшем припадке истерики.

– *Jetzt!*¹⁸ – вскричал профессор.

В соседней комнате послышались шуршание ткани и шум шагов. Попадали манекены. В следующий миг на меня набросились Вильгельм и Иоганн.

Схвачен. Связан. Погиб.

Безумная боязнь пыток сделала меня трусом.

– Дядюшка, – взмолился я, – убейте меня сразу. Заклинаю вас: не мучайте меня. Что вам стоит пустить пулю из револьвера или дать мне яду? Все, что хотите, милый дядюшка, только не надо мучений!

Ухмылявшийся Лерн приводил в чувство Эмму, хлестая ее по щекам мокрым полотенцем.

Я понимал, что схожу с ума. Как знать, не помутился ли рассудок Макбелла при таких же обстоятельствах и именно в такую минуту?.. Макбелл... Клоц... Кладбище животных... Острая боль, прошедшая от виска к виску, пронзила голову: у меня начались галлюцинации.

Меня понесли вниз; Иоганн держал за голову, Вильгельм за ноги.

А что, если они просто снесут меня в пустое помещение и запрут там на замок? Что за черт, ведь нельзя же прикончить племянника как цыпленка!

¹⁸ Здесь: Давайте! (нем.)

Они направились к лаборатории.

Вся моя жизнь, день за днем, пронеслась передо мной в тумане в одно мгновение.

Профессор присоединился к нам. Мы миновали дом, в котором жили немцы, теперь меня несли мимо стены двора. Лерн открыл широкую дверь в левом павильоне, и меня внесли в помещение вроде прачечной, находившееся под залом, в котором стояли аппараты. Эта комната была обнажена, как скелет, и вся, от пола до самого потолка, выложена белыми плитками. Занавес из грубого полотна, подвешенный к железному пруту при помощи колец, разделял это помещение на две равные комнаты. Воздух был пропитан аптечными запахами. В комнате было очень светло. У стены стояла небольшая походная койка. Указав на нее, Лерн сказал мне:

– Ждет тебя давным-давно, Николя.

Затем дядюшка отдал какие-то распоряжения по-немецки. Его помощники развязали и раздели меня. Спротивляться было бесполезно.

Через несколько минут меня удобно уложили на кровать, натянув одеяло до самого подбородка, и крепко-накрепко привязав ремнями. Иоганн остался сторожить меня, сидя верхом на скамейке, единственном, не считая койки, предмете мебели в этом помещении, аскетичность которого действовала на меня угнетающе. Остальные ушли.

Так как занавес не доходил до конца стены, то я мог видеть в соседнем помещении такую же широкую двустворчатую дверь, выходящую во двор.

Как раз напротив меня я в просвете увидел своего давнего приятеля – старую сосну...

Моя грусть усилилась. Во рту был мерзкий привкус, точно я предчувствовал свое будущее разложение. Вероятно, совсем скоро начнется отвратительный химический процесс.

Иоганн поигрывал револьвером и каждую минуту прицеливался в меня, приходя в восторг от своей превосходной шутки. Я отвернулся от него к стене и благодаря этому обнаружил на глазури плиток надпись, составленную из бесформенных букв и сделанную – по крайней мере, я так думаю – алмазом кольца:

Good bye for evermore, dear father. Doniphan.

«Прощай навсегда, дорогой отец. Донифан». Бедняга! Его тоже укладывали на эту кровать... И Клоца... А кто докажет, что до меня дядюшка ограничился только этими двумя жертвами? Но в тот миг мне до этого почти не было дела.

Начинало смеркаться.

Над нашими головами кто-то поспешно расхаживал туда и сюда. С наступлением вечера ходьба прекратилась. Потом Карл, вернувшийся из Грей-л'Аббея, сменил Иоганна у моей койки.

Немного погодя Лерн заставил меня принять ванну, а затем выпить какое-то горькое пойло. Я узнал по вкусу сернокислую магнезию. Не оставалось никаких сомнений: меня собирались изрезать; все это были предвестники операции; всякий знает об этом в наш век аппендицита. Это произойдет завтра утром... Что еще они попробуют надо мной проделать, перед тем как убить меня?..

Я наедине с Карлом.

Я почувствовал приступ голода. Где-то неподалеку затихал несчастный птичий двор: шелест соломы, пугливое клохтанье, сдержанный лай. Мычали коровы.

Ночь.

Вошел Лерн. Я был крайне взволнован. Он пощупал мой пульс.

– Спать хочется? – спросил он меня.

– Скотина! – процедил я в ответ.

– Хорошо. Дам тебе успокоительное.

Он подал мне стакан. Я выпил. Пахло хлороформом.

И снова я наедине с Карлом.

Кваканье лягушек. Блеск звезд. Восход луны. Появление ее красноватого диска. Мистическое восхождение светила и смена одного светила другим... Все очарование ночи... В своем отчаянии я воссылал к Небу забытую молитву, мольбу маленького ребенка, обращенную к Тому, Кто был для меня вчера – мифом, а сегодня превратился в абсолютную реальность. Как мог я сомневаться в Его существовании?!..

И луна плыла по небу, точно ореол в поисках чела, которое должна увенчать.

Немало времени прошло до того, как я стал засыпать со слезами на глазах...

Я забылся в бреду. Простое жужжанье сделалось оглушительным. Кто-то ходил по соломе. Этот птичий двор выводил меня из себя... Бык ревел. Мне даже казалось, что он ревет все громче и громче. Разве его загоняли с коровами каждый вечер во двор этой странной фермы?.. Впрочем... Какая возня и сколько шума, мой Бог!..

Вот какие мысли бродили у меня в голове, когда я, бесповоротно осужденный на смерть или обреченный на сумасшествие, под влиянием наркотического питья заснул тяжелым искусственным сном, который продолжался до самого утра.

* * *

Кто-то потряс меня за плечо.

У кровати стоял Лерн в белой блузе.

Во мне тотчас же возродилось ощущение опасности, ясное и совершенно определенное.

– Который час? Я умру? Или вы уже закончили?

– Терпение, племянничек. Мы еще даже не начинали.

– Что вы намерены со мной делать? Привьете мне чуму? Туберкулез? Холеру? Да скажите же, дядюшка! Нет? Тогда – что?

– Хватит уже ребячиться! – пробормотал Лерн.

Он отошел, и я увидел операционный стол, состоявший из узенькой решетчатой металлической доски на узких козлах – это вызвало воспоминание о дыбе в застенке. Сложный набор инструментов и стекло бесчисленных склянок ярко блестели в лучах восходящего солнца. Гигроскопическая вата лежала белой кучей на маленьком столике. Под каждым из металлических шаров, поставленных около стола, горела спиртовая лампочка.

Мое оцепенение было близко к обморочному состоянию.

В соседнем помещении, за занавеской, в настоящий момент закрытой до конца и подрагивающей, чувствовалась возня. Оттуда доносился резкий запах эфира. Тайны! Снова эти бесконечные тайны!

– Что там такое, за этой занавеской? – вскричал я.

Между стеной и занавеской прошли Карл и Вильгельм, уходя из соседнего помещения, превращенного благодаря занавеси в отдельный кабинет. Они тоже были одеты в белые халаты, – значит, они тоже принимали участие в операции...

Но Лерн схватил что-то, и я почувствовал на затылке холод от прикосновения стали. Я закричал благим матом.

– Идиот, – пробормотал дядюшка, – это машинка для стрижки волос.

Он остриг мне волосы, потом тщательно выбрил всю голову. При каждом прикосновении бритвы мне казалось, что лезвие вонзается в кожу.

Затем снова намылили голову, сполоснули все, после чего профессор нанес на мою плешь при помощи жирного карандаша и какого-то особенного циркуля ряд каббалистических линий.

– Сними рубашку, – сказал он мне, – но осторожнее: не сотри мои отметки. Так, а теперь ложись сюда.

Они помогли мне залезть на стол. Меня крепко привязали к нему, причем руки связали *под столом*.

Но куда подевался Иоганн?

Карл без всяких предупреждений надел мне на лицо нечто вроде намордника. Легкие наполнились испарениями эфира. «Почему не хлороформ?» – подумал я.

– Вдыхай как можно глубже и спокойнее, – посоветовал Лерн, – это в твоих же интересах... Дыши.

Я повиновался.

В руках у дядюшки длинный тонкий шприц... Ай! Он уколол меня в шею. Я с трудом, так как губы и язык были словно налиты свинцом, промычал:

– Подождите. Я еще не заснул... Что это за вирус? Сифилис?

– Всего-навсего морфий, – сказал профессор.

Начала действовать анестезия.

Новый, крайне болезненный укол в плечо.

– Я не сплю! Бога ради, подождите! Я же еще не сплю!

– Именно это мне и нужно было узнать, – пробормотал мой палач.

Пытка становилась все мучительней. Меня утешало сознание, что все приготовления делались для операции на голове... А ведь Макбелл пережил трепанацию черепа...

Я уходил в себя. Серебристые колокольчики наигрывали какой-то райский мотив, который я никак потом не мог вспомнить, хотя он казался мне в ту минуту незабываемым.

Снова укол в плечо, почти безболезненный. Я хотел сказать снова, что не сплю, но усилия были тщетны; мои слова звучали глухо, точно потопленные на дне океана; звуки моих слов уже умерли, только я один еще различал их.

Я услышал, как зазвенели кольца занавески.

И, ничуть не страдая, уже находясь на пороге мнимой нирваны, вот что я ощутил.

Лерн делает глубокий надрез от правого виска до левого, нечто вроде незаконченного скальпирования, и откидывает весь отрезанный кусок кожи на лицо. Если смотреть на меня спереди, моя голова должна казаться таким же кровавым месивом, как голова той несчастной обезьяны, которую оперировал Иоганн...

– На помощь! Я же не сплю!

Но серебристые колокольчики заглушают в моем сознании собственный голос. Мой голос где-то на дне морском, а колокольчики теперь звенят страшно громко, точно жужжат громадные шмели... И я чувствую, что я погружаюсь в море эфира...

Жив я или же умер?... Не знаю... Чувствую, что я мертвец, который осознаёт, что умер... и даже нечто большее...

Я провалился в небытие.

Глава 10

Цирцейская операция

Когда я открыл глаза, царствовала полная тьма, не слышалось ни одного звука, в воздухе не чувствовалось больше никаких запахов. Я хотел сказать: «Не начинайте, я еще бодрствую». Но не мог сказать ни одного слова; ночной бред продолжался: мне показалось, что рев приблизился настолько, что я его слышал в самом себе... Не чувствуя себя в состоянии успокоить свои взбудораженные нервы, я лежал неподвижно и безмолвно.

И в моей душе росла уверенность, что таинственное *нечто* уже свершилось.

Мало-помалу сумерки стали рассеиваться. Атараксия отступала. Вместе с излечением от слепоты начали пробуждаться и остальные органы чувств: звуков и запахов становилось все больше, они навалились на меня веселой толпой. Блаженство! Ах, остаться бы в таком состоянии навсегда!

Но эта агония, наоборот, развивалась своим путем, независимо от моей воли, и я снова вернулся к жизни.

Между тем предметы, которые я теперь различал, были странной формы, не рельефными, и окрашены в странный цвет. Я видел широкое пространство, более широкое, чем раньше: я вспомнил о действии некоторых обезболивающих препаратов на расширение зрачка; по-видимому, этим были вызваны и объяснялись все странности моего теперешнего зрения.

Тем не менее я без особенного труда констатировал факт, что меня сняли со стола и положили на пол в соседнем помещении; и, вопреки своим глазам, которые функционировали теперь как изменяющие форму предметов линзы, мне все же удалось разобраться в своем положении.

Занавес был отдернут. Лерн и все его помощники окружали операционный стол и делали там что-то, чего я не мог рассмотреть из-за их спин, – должно быть, приводили в порядок инструменты. Сквозь настежь раскрытые двери виден был парк и не дальше двадцати метров от меня – кусочек пастбища, с которого на нас глядели жующие и мычащие коровы.

Только я должен был бы вообразить себе, что меня перенесли в самую революционную из всех импрессионистских картин. Голубой цвет неба, нисколько не теряя своей прозрачности, превратился в восхитительный оранжевый; трава и деревья казались мне не зелеными, а красными; золотистые ромашки пастбища украшали фиолетовыми звездочками пунцовую траву. Все изменило свой цвет, впрочем, за исключением черных и белых предметов. Черные брюки и белые блузы четырех сообщников остались прежними. Но блузы были забрызганы пятнами... зеленого цвета, на полу были лужи того же зеленого цвета; какая же это могла быть жидкость, кроме крови? И что удивительного в том, что она казалась мне зеленой, раз зелень полей виделась мне красной?.. От этой жидкости исходил сильный запах, от которого я убежал бы куда глаза глядят, если бы мог пошевелиться. Тем не менее это был вовсе не запах крови... я еще никогда не вдыхал его... как и остальных ароматов этой комнаты... точно так же, как мои уши никогда не воспринимали таких звуков...

И вся эта фантазмагория не проходила, искажение восприятия не улетучивалось вместе с парами эфира.

Я попробовал стряхнуть с себя охватившее меня оцепенение, но ничего не вышло.

Я лежал на подстилке из соломы... несомненно, из соломы... но солома была *сиреневого* цвета!

Хирурги, за исключением Иоганна, стояли ко мне спиной. Лерн время от времени бросал в ванночку кусочки ваты, окрашенные кровью в *зеленый*.

Иоганн первым заметил, что я проснулся, и сказал об этом профессору. Тогда любопытство вынудило группу, стоявшую у стола, раздвинуться, и, таким образом, я получил возмож-

ность увидеть, что на столе лежит совершенно голый человек, руки которого связаны под столешницей. Этот человек был так неподвижен и бледен, что производил впечатление восковой фигуры или мертвеца; черные усики еще больше оттеняли бледность лица, на голове лежала повязка, запятнанная... ну, зелеными брызгами. Его грудь приподнималась равномерно; он глубоко вдыхал и выдыхал, причем при каждом вздохе крылья его носа вздрагивали.

Этим человеком – миновало немало времени, прежде чем я пришел к этому заключению, – *был я сам.*

Когда я убедился, что вижу это явление не в каком-либо зеркале – а выяснить это было нетрудно, – мне пришла в голову мысль, что Лерн раздвоил мое существо и теперь меня – два.

А может, я вижу это во сне?

Нет, наверняка нет! Но пока приключение не представляло собой чего-нибудь исключительно ужасного; я не умер и не сошел с ума; очевидность этого вывода невероятно подбодрила меня. (Пусть говорят, сколько хотят, что я в тот момент не вполне владел своим рассудком; будущее подтвердило это смелое предположение.)

Оперированный пошевелил головой. Вильгельм развязал его, и я присутствовал при пробуждении моего ослабевшего двойника. Раскрыв ничего не видящие глаза, он замотал головой с идиотским видом, нащупал края стола и сел. Он очень скверно выглядел, я с трудом верил, чтобы похожий на меня человек мог казаться таким дурнем.

Больного положили на походную кровать. Он не сопротивлялся и позволил ухаживать за собой. Но скоро он стал задыхаться от болезненных позывов к рвоте, и я мог убедиться, что между нами не было никакой связи, так как я нисколько не страдал от мучивших его припадков, – разве только мысленно, и то из вполне понятного чувства сострадания к человеку, до такой степени похожему на меня самого.

Ну, однако!.. Похожего?.. Не было ли это просто повторением моего тела? Или, может быть, оно-то и было моим телом... Пустяки!.. Абсурд!.. Я чувствовал, видел, слышал, по правде сказать, очень плохо, но, во всяком случае, достаточно, чтобы быть уверенным, что у меня есть нос, глаза, уши. Я напрягся и почувствовал, как веревки врезались мне в мускулы: следовательно, у меня есть и тело, волосатое и окоченелое, но все же тело... И мое тело находилось здесь, а не там...

Профессор объявил, что сейчас меня развяжут.

Веревочная сеть разомкнулась. Нетерпение охватило меня. Я вскочил на ноги одним прыжком, и сложное ощущение наполнило мою душу ужасом и поколебало ее. Боже мой, до чего я был маленького роста и как тяжел!.. Я хотел взглянуть на себя: под моей головой ничего не оказалось. С трудом наклонив голову еще ниже, я увидел два раздвоенных копыта на конце кривых, покрытых жесткой черной шерстью ног.

Я хотел крикнуть во весь голос... и из моих уст вырвался ужасный, преследовавший меня всю ночь рев, от которого задрожали стены дома, рев, повторенный дальним эхом скал, окружавших Фонваль.

– Замолчи, Юпитер, – сказал Лерн, – ты утомляешь бедного Николя, который нуждается в отдыхе!

И он указал на мое тело, обеспокоенно приподнявшееся на кровати.

Выходит, я стал черным быком! Лерн, этот ненавистный волшебник, превратил меня в животное.

Он грубо издевался надо мной. Два мерзавца – его помощники – хамски вторили его смеху, держась за бока. Мои бычьи глаза научились плакать.

– Ну да, – сказал волшебник, словно отвечая на вихрь моих мыслей, – ну да, ты – Юпитер. Но ты вправе знать о себе больше. Твой гражданский статус таков: родился в Испании, в знаменитой ганадерии, происходишь от известных родителей, мужское потомство которых давно уже умирает славной смертью, со шпагой в затылке, на песчаных аренах. Я избавил тебя от

бандериллий тореадоров. Я дорого заплатил за тебя и коров, потому что ваша порода пригодна для моих целей. Ты обошелся мне в две тысячи песет, не считая доставки сюда. Ты родился пять лет и два месяца тому назад; значит, сможешь прожить еще столько же, не больше... если мы позволим тебе умереть от старости. В конце концов, я приобрел тебя, чтобы проделать над твоим организмом некоторые опыты... Пока мы только начали первый.

Тут мой остроумный родственник вынужден был сделать передышку и подождать, пока пройдет приступ душившего его смеха. Затем он продолжал:

– Ха-ха, Николя! Как себя чувствуешь, а? Уверен, не слишком плохо. Твое, сына женщины, любопытство, твое адское любопытство, должно быть, поддерживает тебя? Держу пари, ты не столько сердит, сколько заинтригован. Я прав, так ведь? Да ладно тебе, я человек великодушный, и раз уж теперь ты, мой дорогой ученик, сделался скромным, послушай то, что ты так жадно хотел узнать. Разве я тебе не говорил: «Приближается момент, когда ты все узнаешь». Так вот теперь, Николя, ты узнаешь все! Да и мне совсем не нравится, что меня принимают за дьявола, чудотворца или колдуна. Я не Бельфегор, не Моисей и не Мерлин – просто-напросто Лерн. Мое могущество не зависит от внешнего мира, оно всецело исходит от меня, оно мое, и я горжусь этим. Это могущество – мое знание. Самое большее, что могли бы мне поставить в упрек, так это то, что знание – общечеловеческое достояние, что я его использовал единолично, однако в данный момент я наиболее подвинувшийся вперед пионер, главный его обладатель... Но не будем вступать в препирательства. Повязки не мешают тебе слышать меня?

Я помотал головой – с этим, мол, проблем нет.

– Хорошо! Слушай же и не вращай так изумленно глазами: все объяснится, черт побери! Мы же в реальной жизни, а не в романе.

Помощники чистили и раскладывали по местам инструменты. Мое заснувшее тело храпело. Подтащив поближе скамеечку, Лерн сел рядом и заговорил в таких выражениях:

– Прежде всего, мой дорогой племянник, я неверно выразился, назвав тебя Юпитером. В подлинном смысле этого слова я не превратил тебя в быка, и ты по-прежнему остаешься Николя Вермоном, потому что имя всегда указывает на определенную личность, а личность – это душа, а не тело. Так как, с одной стороны, ты сохранил свою душу, а с другой – знаешь, что душа помещается в мозг, взглянув на этот хирургический набор, ты без труда придешь к выводу, что я всего-навсего заместил мозг Юпитера твоим, а его мозг обитает теперь в твоих человеческих лохмотьях.

Ты скажешь мне, Николя, что это шутка весьма сомнительного толка. Ты не можешь разглядеть сквозь нее ни грандиозную цель моих стремлений, ни цепь исследований и событий, которая привела меня к этому. А между тем эта маленькая буффонада в стиле Овидия – одно из звеньев этой цепи; но возможно, что она ничего тебе не разъясняет, потому что я занялся этим между прочим. Если хочешь, мы определим ее словами: эскиз художника.

Нет, цель моей жизни представляется мне не этой детской забавой, довольно жестокой – ты с этим согласен, не правда ли, – и не имеющей перспектив широкого применения ни в социальной, ни в коммерческой сфере.

Моя цель – добиться *перемещения человеческих личностей*, и моими первыми шагами на этом пути были перемещения мозгов.

Ты знаешь мою давнишнюю страсть к цветам. Я всегда с увлечением ухаживал за ними. В былое время моя жизнь была заполнена работой, от которой я отдыхал по праздникам, целыми днями занимаясь цветами и растениями. Ну так представь себе, что любимое занятие повлияло на профессиональное: прививка повлияла на мои хирургические методы, и в госпитале меня влекло заняться исключительно пересадками органов у животных. Я специализировался в этой области, страшно увлекся ею и в клинике стал испытывать такое же наслаждение, как и в оранжерее. Даже в самом начале своей работы я смутно чувствовал, что между прививками растительного мира и пересадками органов животных есть точка соприкосновения, что-

то общее, что я определил недавно путем строго логической и последовательной работы... Впрочем, мы к этому еще вернемся.

Когда я пристрастился к опытам с пересадками органов у животных, эта область хирургии была в полном загоне.

По правде говоря, со времени древних индусов этот вопрос не сдвинулся с места.

Но может статься, что ты забыл принципы прививки. Не смущайся этим, я напомню их тебе сейчас.

Она основана, Николя, на следующем факте: каждая ткань обладает самостоятельной жизнью, и тело животного представляет собою только среду, приспособленную для жизни каждой ткани в отдельности, среду, которую они могут покинуть, не умирая при этом в течение большего или меньшего промежутка времени.

- Ногти и волосы отрастают после смерти – ты это знаешь, – значит они не умирают в момент смерти животного.

- Умерший без прямого потомства обладает еще в течение 54 часов после своей смерти способностью к продолжению рода. К сожалению, он лишен других необходимых для исполнения этого приспособлений. Впрочем, говорят, что повешенные...

Я продолжаю перечисление примеров.

- При соблюдении определенного температурно-влажностного режима удалось сохранить живыми: отрезанный хвост крысы в течение семи дней; ампутированный палец – в течение четырех часов. Потом они умерли, но если бы в течение этих семи дней и четырех часов их удачно вернули бы на место, они продолжали бы жить.

Эта процедура была в свое время использована индусами: когда у них в виде наказания отрубали носы и сжигали их, то они восстанавливали исчезнувший орган, вырезая кожу со спины самого потерпевшего и прикрепляя ее на место носа, мой милый Николя.

Такая операция является первым шагом в области пересадки органов и заключается в замене одних частей тела другими, взятыми у одного и того же организма.

Второй шаг заключается в том, чтобы соединить двух животных, дав им срастись ранами. В таких случаях можно отрезать часть, прилегающую к ране одного, и она будет продолжать жить на другом.

Третий шаг заключается в том, чтобы перенести часть одного организма в другой непосредственно. Это самый изящный способ: им я и соблазнился. Эти операции считались очень трудными и опасными по целому ряду причин, из которых главная та, что пересадка тем хуже удастся, чем дальше на ступенях родства объекты, подвергающиеся операции. Пересадка великолепно удастся на одном и том же животном, на отце и сыне уже хуже и все хуже и хуже на двух братьях, двоюродных братьях, на двух чужих друг другу людях, на немце и испанце, на негре и белом, на мужчине и женщине и на ребенке и старце.

Когда я начал этим заниматься, пересадка застряла на зоологических семействах, а между разными классами совсем не удавалась.

А между тем несколько опытов составляли исключение; я основывался на них, когда захотел совершить самое трудное, чтобы научиться сделать самое простое: привить рыбе органы птицы или, наоборот, для того чтобы создать составного человека. Я говорю: несколько опытов.

- Висман пересадил себе на руку перышко чирика, и, когда через месяц вырвал его, образовалась небольшая кровоточившая ранка.

- Боронио прирастил к гребню петуха крысиный хвост и крылышко чижа.

Это были пустяки, но природа сама подбодряла меня.

- Птицы постоянно скрещиваются самым бесстыдным образом, и получается масса убожков; это указывало мне на возможность пересадок в этом мире.

• Кроме того, если еще дальше отойти от человека, то растительный мир тоже обладает значительной способностью к сращиванию.

Вот в коротких словах то положение, которое я застал по интересовавшему меня вопросу и с какими данными я принялся за работу.

* * *

Я обосновался здесь, чтобы работать без помех.

И почти сразу же мне удались замечательные операции. Они прославились на весь мир. Одна – уж точно. Наверное, и ты помнишь ее!

Известный американский миллиардер, король консервов, Липтон, обладал всего одним ухом и хотел во что бы то ни стало получить второе. Какой-то несчастный бедняк продал ему одно из своих за пять тысяч долларов. Церемонию передачи совершил я. Пересаженное ухо скончалось только вместе с Липтоном, два года спустя – от несварения желудка.

Вот тогда-то, когда весь мир аплодировал мне, и как раз в то время, когда внезапно захватившая меня страсть побуждала меня заработать как можно больше денег для того, чтобы окружить Эмму роскошью, – вот тогда-то и пришла мне в голову моя грандиозная идея, плод следующих размышлений.

Если недовольный своею внешностью миллиардер платит пять тысяч долларов, чтобы исправить ее, то каких денег он не заплатит, чтобы совершенно переменить эту внешность и *приобрести для себя – для своего мозга – новое тело*, грациозное, молодое и сильное, вместо своего старого, потасканного и отвратительного? А с другой стороны, сколько я знаю субъектов, которые с восторгом отдадут свою великолепную внешность в обмен на возможность пропьянствовать несколько лет.

И заметь, Николя, покупка другого, более молодого тела не только наделяет гибкостью, горячностью и выносливостью, но и дает еще одно громадное преимущество, ведь органы, перенесенные в более молодую среду, сами молодеют и воскресают. О, не я первый это утверждаю: Поль Берт уже допускал возможность пересадки одного и того же органа последовательно в несколько тел по мере того, как каждое из них дряхлело. Он предвидел, что при помощи последовательного омоложения можно было дать возможность жить неопределенное время внутри менявшихся организмов одному и тому же желудку, одному и тому же мозгу. Это было равносильно заявлению, что одна и та же личность может *существовать неопределенное количество лет*, если ее последовательно будут освобождать из отслуживших оболочек.

Открытие превзошло мои самые смелые ожидания. Я не только нашел возможность изменить внешность, нет: *я держал в руках секрет БЕССМЕРТИЯ*.

Так как главным помещением «личности» служит головной мозг – ты ведь знаешь, что спинной мозг выполняет лишь проводниковую и рефлекторную функцию, – то надо было только добиться возможности пересаживать его, переносить с места на место.

Конечно, от пересадки уха до пересадки мозга не такой уж и близкий путь, хотя вся разница, в сущности, сводится к ступеням, которые отделяют: 1) хрящ от мозговой ткани и 2) второстепенный орган от главного. Мою уверенность поддерживала логика, основывавшаяся к тому же на известных, научно описанных прецедентах.

1. • Кроме прививок слизистой оболочки, кожи, хряща и т. д., в 1861 году Филиппо и Вюлпиан пересадили нервные клетки в глазном нерве.

• В 1880 году Глюк заменил несколько сантиметров бедренного нерва у курицы нервами кролика.

• В 1890 году Томпсон изымает несколько кубических сантиметров мозгового вещества у собак и кошек и заполняет образовавшееся отверстие таким же количеством мозгового вещества других собак и кошек или животных другого вида.

Вот, значит, доказательства того, что переход от хряща к нерву и от уха к мозгу возможен. Теперь перейдем к затруднениям второго рода.

2. • Садовники сплошь и рядом прививают целые организмы.

• Не ограничиваясь пальцами, хвостами и лапами, Филиппо и Мантегацца пересаживали довольно важные органы: селезенку, желудок, язык. Они по желанию могут превратить курицу в петуха. Пробовали пересадить даже поджелудочную и щитовидную железы.

• Оррель и Гатри в 1905 году в Нью-Йорке сообщили, что считают возможным заменить вены и артерии человека венами и артериями животных.

Таким образом, мы перешли от второстепенных органов к главным.

• Наконец, Мантегацца утверждал, что ему удавалось пересадить костный и головной мозг лягушек.

Все эти сообщения вполне определенно указывали, что мой проект исполним. Следовательно, я во что бы то ни стало добьюсь своего.

Я принялся за работу.

Препятствие возникло сразу же: при отделении мозга от тела погибало либо то, либо другое, а часто и то и другое, до того как успеешь соединить их с их новыми спутниками.

Но и тут факты, обнародованные до этого времени, придали мне смелости.

Что касается тела...

• Животное может продолжать жить, обладая только частью мозга. Ты сам видел полет спиралью голубя, лишенного трех четвертей своего головного мозга.

• Часто случается, что обезглавленная утка улетает на сотни метров от того места, где валяется ее отрезанная голова.

• Один кузнечик прожил пятнадцать дней без головы. Пятнадцать! Надеюсь, что это доказательный опыт.

Что касается органов, то имелись факты, уже упомянутые раньше.

На основании всего этого я выводил заключение, что при должном обращении тело и мозг должны быть в состоянии прожить по отдельности те несколько минут, которые были необходимы для операции.

Как бы то ни было, но длительность трепанации черепа навела меня на мысль пересаживать голову целиком, вместо того чтобы менять мозги, так как я знал, что Броун Окар, наполнив отрубленную голову собаки обогащенной кислородом кровью, добился того, что эта голова прожила четверть часа самостоятельно.

К этому периоду моих опытов принадлежат созданные мною причудливые существа: осел с головой лошади, коза с оленьей головой; мне было бы приятно их сохранить, так как составлявшие их животные далеко отстояли друг от друга и получить их путем скрещивания мне не удавалось. Увы, как раз в ночь твоего приезда Вильгельм оставил ворота открытыми, и эти чудища, достойные занять свое место в коллекции «доктора Моро», убежали и скрылись вместе с многими другими, наблюдения над которыми не были еще окончены. Ты можешь похвастать, что попал в Фонваль так же удачно, как болонка попала бы на крокетную площадку в самый разгар игры...

Я продолжаю, но, чтобы избежать переутомления мозга, восстанавливающегося после тяжелой операции, я не стану подробно описывать, почему я бросил этот метод, как я изобрел трепан Лерна с круглой пилой, работающий с феноменальной быстротой, шары для хранения мозгов или искусственную мозговую оболочку, мазь для спаивания нервов. Избавлю тебя от описаний пользы от впрыскивания морфия, который сужает кровеносные сосуды и тем самым уменьшает кровотечение, и от употребления в качестве анестетика эфира, от методов обработки мозговых полушарий, чтобы они приходились точно по размеру предназначенных для них мозговых коробок и т. д. и т. п.

Благодаря всему этому я переместил личности... (я с трудом вспоминаю, как зовут это животное, ах да)... болонки и вяхиря – это было недурно, – потом славки и гадюки, а затем карпа и черного дрозда: холонокровные и теплокровные – это уже было превосходно. В сравнении с этими чудесами моя главная цель – перемещение человеческих особей – превратилась в игрушку.

Тут уже Карл и Вильгельм предложили свои услуги для проведения окончательного опыта. Это было нечто эпическое! Отто Клоц меня покинул... хм... в Макбелле я не был уверен: пришлось оперировать самому с помощью одного Иоганна и автоматических машин.

Успех!

Ах, какие славные парни! Кому придет в голову, что у них ампутированы тела? А тем не менее каждый из них с того дня обитает в телесном жилище своего друга. Вот, посмотри!

Лерн подозвал помощников и, подняв волосы у них на затылке, показал мне темно-багровые рубцы. Оба немца улыбнулись друг другу, и я восхитился их выдержкой.

Дядюшка продолжал:

– Итак, богатство было мне обеспечено. Вместе с тем я приобретал славу, счастье Эммы и ее любовь, что для меня дороже всего, Николя.

Но мало было сделать открытие, нужно было еще и применить его на практике.

По правде сказать, одно обстоятельство повергало меня в уныние. Я говорю о влиянии духа на тело и наоборот. Спустя несколько месяцев оперированные мною изменялись. Если я снабжал тело более развитым мозгом, чем тот, что был в нем раньше, мозг разрушал тело – и, например, свиньи, которым я пересадил мозг собак, делались хилыми, худели и быстро околевали. Наоборот, если пересаженный мозг менее развит, чем прежний, то он поддается влиянию тела, и составное животное становится все жирнее и глупее. Это роковое, неизбежное правило. А иногда тело обладает настолько могучими инстинктами, что изменяет мозг соответственно своим инстинктам: один из моих волков, милый мой, ожесточил мозг ягненка, пересаженный в его тело. Но у моих будущих пациентов – у людей – это не должно было вести к серьезным переменам характера или к проблемам со здоровьем. Это было бы смешно и нисколько не мешало моим планам.

Не желая оставлять Макбелла около Эммы, я отправил его в Шотландию, а сам направился в Америку, в страну решительных людей, миллиардов и замененных ушей, которая казалась мне наиболее подходящей для моих целей. Это было два года тому назад.

На следующий день после того, как я высадился на берег, я имел в своем распоряжении тридцать пять бродяг, готовых пожертвовать своими безукоризненными телами тридцати пяти щедрым миллиардерам, которых еще нужно было найти, уговорить, уверить и убедить.

И тут меня ждал провал.

Я начал с самых страшных и худосочных.

Одни приняли меня за сумасшедшего и выставили за дверь.

Другие рассердились и, косо поглядывая на меня, выпячивая свою впалую грудь или раскачиваясь на кривых ногах, удивлялись, что нашелся человек, полагающий их уродливыми.

Умирающие были убеждены, что они на пути к выздоровлению. Во всяком случае, в это они верили гораздо тверже, чем в то, что не умрут на операционном столе.

Нашлись такие, которые испугались: «Это значит испытывать долготерпение Божие!» Они отшатывались от меня, как от дьявола, и охотно окропили бы меня святой водой... Сколько я им ни доказывал, что человек больше меняется в течение своей жизни, чем они изменяются под моим скальпелем, что религиозная мораль значительно ушла вперед с 1670 года, когда отлучили от церкви одного русского за то, что его череп починили при помощи собачьей кости, ничего не помогло.

Многие рассуждали так: «Всякий знает, что он имеет. Но как знать, что ты получишь взамен?»

Поверишь ли ты, но меня чуть не спасли женщины! Их, желающих стать мужчинами, пришла целая толпа. К несчастью, мои бродяги, за исключением двух или трех смельчаков, категорически отказались получить женское тело.

Отчаявшись в успехе, я попытался соблазнить их заманчивой перспективой вечного существования, так как жизнь возобновлялась бы при повторном перевоплощении. «Жизнь, – ответили мне семидесятилетние старцы, – и так слишком длинна, такая, какую ее создал Бог. У нас только одно желание – умереть». – «Но вместе с молодостью я верну вам все желания». – «Спасибо! Все наше желание заключается в том, чтобы не быть услышанными...»

Люди среднего возраста часто возражали мне: «Приобретенный опыт стоит того, чтобы его сохранить, и не следует лишаться его из-за стремлений молодого тела и горячей крови».

И все же нашлось несколько последователей Фауста, готовых подписать договор, который вернул бы им молодость.

Но все эти набобы представляли мне одно и то же возражение: опасность операции, бессмысленный риск вовсе лишиться жизни в погоне за ее обновлением. Видишь ли, Николя, на операцию решались без задней мысли о смерти только молодые люди, которым нечего было терять и которые знали это.

Сообразив, что надо найти способ доказать полную безопасность операции, я решился продолжать свои опыты, но уже без иллюзий и зная наперед, что, даже если я этого добьюсь, количество пациентов будет очень мало, хотя и этого количества будет довольно, чтобы обеспечить мне богатство и счастье. Только и то и другое приходилось отложить в долгий ящик.

* * *

Я возвратился в Фонваль, расстроенный, огорченный, с ненавистью ко всему и всем в сердце. Застал врасплох Эмму и Донифана – и отомстил. Более неумолимого судью трудно было найти. Ты ведь уже догадался, не правда ли? Вчера Макбеллы увезли с собой мозг Нелли, тогда как душа Донифана заключена в теле сенбернара. За один и тот же проступок вас обоих постигло одно и то же наказание. Соломон не вынес бы более справедливого приговора, Цирцея не исполнила бы его лучше, чем это сделал я.

Тем не менее я упорно работал, племянничек, и – несмотря на твое неожиданное прибытие и на вынужденное наблюдение за тобой, отнявшее у меня немало времени, – надеюсь через несколько дней провести первый опыт перемещения личности *без хирургического вмешательства*.

Представь себе, я догадался не прерывать занятий с прививками у растений. Я довел их до высокой степени совершенства, и мои открытия в этой области в связи с тем, чего я добился в области зоологических пересадок, почти исчерпывают всю науку о прививках. Комбинируя эти знания с другими, я нашел, как мне кажется, то решение, которое искал. Ученые делают слишком мало обобщений, Николя. Мы влюблены в детали, мы увлекаемся бесконечно малыми величинами, у нас мания анализа, и мы наблюдаем природу, не отрывая глаза от микроскопа. А между тем для половины наших исследований надо было бы обладать совсем другим инструментом, показывающим общий вид, инструментом оптического синтеза, или, если хочешь, – мегалоскопом.

Я уже предвижу грандиозное открытие!

И подумать только, что, не будь Эммы, я, презирая деньги, никогда не дошел бы до этих открытий. Любовь создала честолюбие, а оно ведет к славе... Кстати, племянничек: ты был очень близок к тому, чтобы быть облеченным в тело профессора Фредерика Лерна: да, она с такой силой полюбила тебя, милейший, что я подумывал переодеться в твое тело, чтобы она перенесла свою любовь на меня. Это был бы лучший реванш... и довольно пикантный! Но мне еще нужна на некоторое время моя ветхая оболочка; у меня еще есть время, чтобы избавиться

от этогохлама... А впрочем, разве твоя обольстительная внешность не находится у меня всегда под рукой?

При этих саркастических словах я заплакал горькими слезами. Дядюшка продолжал, изображая сочувствие:

– Ах, я злоупотребляю твоим вниманием, мой милый больной. Отдохни. Надеюсь, что, удовлетворив свое любопытство, ты погрузишься в целительный сон. Ах да, я и забыл: не волнуйся из-за того, что внешний мир кажется тебе другим. Между прочим, предметы должны тебе казаться плоскими, как на фотографической карточке. Это происходит потому, что на большую часть предметов ты смотришь одним только глазом. Следовало бы сказать, что у многих животных зрение не стереоскопично. Новые глаза, новые виды; новые уши, новые звуки; все в этом роде, но это пустяки. Даже у людей всякий по-своему оценивает то, что видит. По привычке мы называем определенный цвет «красным», но есть такие люди, которые, называя цвет «красным», видят зеленый – это часто случается – или темно-синий... Ну, спокойной ночи!

* * *

Нет, мое любопытство не было удовлетворено. Но, даже отдавая себе в этом отчет, я никак не мог мысленно расставить по пунктам, *что именно* дядюшка обошел молчанием в своем рассказе, потому что свалившееся на меня несчастье было столь велико, что повергало в глубочайшую печаль, а цирцейская операция оставила после себя неприятное чувство насыщенности парами эфира, которые расстраивали мой человеческий разум и бычье сердце.

Глава 11

На пастбище

За неделю, проведенную в лаборатории, в течение которой за мной ухаживали, пичкали всякими лекарствами, чтобы поскорее поставить на ноги и вернуть здоровье, я испытал все последствия столь тяжелого потрясения: приступы отчаяния сменялись упадническим настроением и полнейшей подавленностью.

Каждый раз, просыпаясь даже после легкой дремоты, я надеялся, что видел все это во сне. Нужно заметить, что ощущения, которые я испытывал при пробуждении, поддерживали мои надежды, но они тотчас же рассеивались. Общеизвестно, что подвергшиеся ампутации какого-нибудь члена терпят сильные мучения и им кажется, что боль сосредоточена в той конечности, которая у них ампутирована и которая кажется им находящейся еще на своем месте. У них болят отрезанные руки и ноги. У меня болели мои человеческие конечности, и эта боль усиливала ощущение, будто мое тело при мне – то тело, которое у меня отобрали.

Это явление повторялось все реже, все в более слабой степени и в конечном счете исчезло.

Но горе и грусть проходили гораздо медленнее. Те авторы, которые описывали эти превращения для забавы других, – Гомер, Овидий, Апулей, Перро – и не подозревали, какой трагедией обернулись бы эти метаморфозы на деле. В сущности, какую драму переживает «Осел» Люция! Как мучительно прошла для меня эта неделя диеты и принужденной бездеятельности! Чувствуя себя мертвым как человек, я трусливо ждал мучений вивисекции и скорой старости, которая должна была принести с собой конец всему... не позже, чем через пять лет...

Несмотря на угнетающую меня тоску, я выздоровел. Как только Лерн это констатировал, меня выпустили на пастбище.

Европа, Атор и Ио галопом помчались ко мне навстречу. Как мне ни стыдно признаваться в этом, но откровенность вынуждает меня отметить тот факт, что они показались мне неожиданно грациозными. Они радостно окружили меня, и, как ни боролась моя душа против этого чувства, внушенного мне, должно быть, проклятым спинным мозгом, – я был польщен таким вниманием. Но вдруг они умчались от меня, вероятно удивленные тем, что не получают ответа на какой-нибудь непонятый мною призыв, или же испуганные каким-нибудь предчувствием.

Долгие дни мне не удавалось приручить их, несмотря на все хитрости, применяемые людьми в таких случаях. В конце концов я подчинил их своей власти энергичными пинками. Это приключение дает обширный материал для философского сочинения, и я, пожалуй, охотно написал бы трактат на эту тему, если бы такие неуместные вставки не нарушали бы ход повествования.

В тот момент, раздосадованный приемом моих рогатых дам и интересуясь ими постольку, поскольку мне это позволяли мое состояние выздоравливающего и нетвердая еще походка, я мирно принялся за траву.

Тут начинается очень интересный на первый взгляд период: период моих наблюдений над собой в моем новом положении. Наблюдения эти настолько заинтересовали меня, что мне удалось заставить себя посмотреть на тело быка как на место временного изгнания, как на неисследованную область, полную всяких неожиданностей, но из которой мне, возможно, удастся бежать. Потому что примириться с временным пребыванием в каком-нибудь не самом неприятном месте гораздо легче.

И пока продолжался этот период приспособления моей человеческой души к оболочке животного, я, право же, жил весьма счастливо.

Дело в том, что передо мной совершенно неожиданно открылся действительно новый мир, мир примитивных привычек тех, с которыми я пасся. Точно так же, как глаза, уши и

нос посылали моему мозгу неизвестные до сих пор картины, звуки и запахи, и язык мой, снабженный совсем иными сосочками, доставлял мне оригинальные вкусовые впечатления. У животных необычайно тонкий вкус, настолько тонкий, что нам и не снилось. Изысканный обед из двенадцати перемен не доставит гурману столько удовольствия, сколько извлечет бык из небольшого участка луга. Я не мог удержаться от сравнения той пищи, которой я теперь питался, с той, которой наслаждался, будучи человеком. Кашка и медунка на вкус отличаются между собой больше, чем жареная камбала и мясо дикой козы под соусом шассер. Для травоядного всякая травка, всякий листочек имеют свою особую прелесть и пикантность: ромашка чуть-чуть пресна, чертополох – наперчен, но все это не может сравниться с ароматным и многообразным для вкуса сеном... Пажить представляет собой всегда прекрасно сервированный стол, за которым можно удовлетворить самый взыскательный вкус самого требовательного гурмана.

Вода постоянно меняется на вкус в зависимости от погоды и времени дня: то она кисловата, то солоната, то сладковата, утром прозрачнее и легче, к вечеру тяжелее, гуще. Я не могу описать всю ее прелесть и думаю, что покойные олимпийцы, составив мстительное и насмешливое завещание, оставили в наследие людям только смех, а остальным животным завещали редкую привилегию наслаждаться амброзией на душистых полях и лугах и нектаром у всех источников.

Я научился наслаждаться жвачкой и понял, почему быки, эти великие дегустаторы, так задумчивы во время работы четырех отделов их желудка, так как и сам привык получать удовольствие от свойственного этим животным процесса пищеварения, в то время как дивный аромат луга одаривал меня целой симфонией приятных запахов.

Продолжая развивать свои способности и наблюдательность, я испытал странные ощущения... Я сохранил самое лучшее и приятное воспоминание о своем носе – средоточии моей восприимчивости: это был безошибочный пробный камень, тонко отличавший плохие зерна от хороших, предупреждавший о приближении врага, прекрасный кормчий и советник, нечто вроде властной и настойчивой совести, оракул, отвечающий только «да» или «нет», никогда не изменяющий, которому всегда охотно подчиняешься. Интересно знать, не доставил ли Юпитеру, когда он превратился в быка, чтобы похитить принцессу Европу, бычий нос больше удовольствия, чем все это, в сущности, отвратительное приключение...

Хорошо, впрочем, что я занялся этими наблюдениями, не откладывая их в долгий ящик, потому что скоро целый ряд недомоганий лишил меня необходимого для наблюдений и опытов спокойствия духа. У меня начались мигрени, насморки, заболели зубы – словом, все то, что так привычно для людей XX века. Я похудел. Меня преследовали мрачные мысли. Сначала это было вызвано властью духа над телом, о котором говорил мой дядюшка, а потом случились два происшествия, после которых мое состояние резко ухудшилось.

После довольно продолжительного отсутствия, вызванного, как я думаю, болезнью, последовавшей за ее страшным испугом, Эмма появилась вновь. Без всякого волнения я увидел ее сначала в окне второго этажа, потом в нижнем этаже, а затем и вне замка. Она выходила ежедневно под руку со своей служанкой и прогуливалась по парку, обходя стороной лабораторию, в которой Лерн без усталости продолжал работать со своими помощниками. Я не думал, что она будет так плохо выглядеть и что взгляд ее будет так печален. Она шла медленно, бледная, с широко раскрытыми, покрасневшими, точно от бессонных ночей, глазами. Весь ее пленительный облик нес отпечаток траура по погибшей любви и терзавших ее угрызений совести. Итак, значит, она продолжала любить меня и думала, что меня постигла та же участь, что и Клоца, а не Макбелла, об участии которого ей не было известно. Она могла считать меня или трупом, или беглецом. Правды она не знала.

Изо дня в день я со все большим благоговением следовал за ней так долго, как только мог. Отделенный от нее колючей проволокой, я пытался привлечь ее внимание мимикой и мыча-

нием. Но Эмма пугалась быка, его скачков и рева. Она ничего не понимала – так же, как и я не понял Донифана, заключенного в тело Нелли. Порой, когда я пытался сделать какой-нибудь человеческий жест и тяжесть моего четвероногого тела придавала сей попытке странный и бессмысленный характер, Эмма забавлялась этим, и на губах ее возникала легкая улыбка.

И я сам поймал себя на мысли, что специально спотыкаюсь, чтобы заставить ее улыбнуться.

Словом, мало-помалу любовь вернула себе утраченные права, начав терзать меня с новой силой.

Но вернувшаяся любовь привела с собою и ревность. Муки ревности изводили меня столь безжалостно, что я стал быстро уставать.

Но и ревность пришла не одна, а в сопровождении какого-то необычного чувства.

Между пастбищем и прудом находился шестиугольный павильон, то самое забавное строение, которое я в детстве называл великаном Бриареем. Лерн не постеснялся увеличить мои страдания, поселив в нем мое тело. Я видел, как помощники принесли туда простую мебель, а потом привели это существо... И с этого дня оно не отходило от окна, бессмысленно смотря на меня.

У него отросли волосы на голове и борода. Он разжирел и отяжелел до того, что костюм выглядел на нем точно сшитым в молодости, щеки были толсты и отвислы, глаза – мои глаза, миндалевидной формой которых я так гордился, – округлились и были выпучены, как у быка. Человек с мозгом быка становился похожим на Донифана, только у него было больше звериного и меньше добродушия в выражении лица, чем у того. Мое бедное тело сохранило некоторые свойственные мне привычные жесты: он изредка подергивал плечами – привычка, от которой я никак не мог отделаться, – так что казалось, будто это отвратительное существо издевается надо мной, стоя за окошком павильона. Часто на закате солнца он принимался орать; мой чудный баритон превратился в бессмысленный и негармоничный крик гориллы. В ответ на его крики со двора лаборатории доносился болезненный вой бедного, превращенного в собаку Макбелла, и я не мог отделаться от непреодолимого желания излить свою тоску и злобу в реве, – и весь Фонваль оглашался дикими звуками этого чудовищного терцета.

* * *

Эмма заметила, что в павильоне кто-то живет.

В тот день они с Барб шли вдоль пастбища. Я, как обычно, проводил их до маленькой рощицы, пересеченной дорогой, и принялся ждать у выхода из этого подобия туннеля, в котором ворковали голуби.

Они вышли оттуда, но внезапно остановились.

Эмма вдруг перевоплотилась. Я увидел ее такой, какой я любил ее видеть: с трепещущими ноздрями, с полузакрытыми дрожащими ресницами глазами, с бурно вздымающейся грудью. Она со всей силы сжимала руку Барб.

– Николя, – прошептала она. – Николя!

– Что-что? – спросила служанка.

– Да вон там! Неужели не видишь?

И в то время, как в густой листве раздался приглушенный смех горлиц, Эмма указала Барб на существо, стоявшее у окна павильона.

Оглянувшись и убедившись, что ее не видно из лаборатории, Эмма сделала ему несколько знаков, послала несколько воздушных поцелуев. Но у владельца моего тела была достаточно уважительная причина, чтобы абсолютно ничего не понять. Он пялил свои круглые глаза, стоял с отвисшей губой и употреблял все находившиеся в его распоряжении способы

для того, чтобы придать моему телу, об утрате которого я так горько сожалел, вид совершеннейшего кретина.

– Сумасшедший! – сказала Эмма. – Этот тоже обезумел! Лерн и его свел с ума, как Макбелла!

Тут славная девушка разрыдалась, и я почувствовал, как в крови закипает гнев.

– Главное, – посоветовала служанка, – не вздумайте подходить близко к павильону: его видно со всех сторон!

Эмма отрицательно замотала головой, осушила слезы, легла на траву, опершись на руки, и долго с любовью смотрела на этого молодца, вспоминая, должно быть, о наслаждениях, подаренных им ей. Стоявшего у окна скота эта поза, по-видимому, заинтересовала гораздо больше, чем все предыдущие действия.

Эта сцена выходила за рамки смешного и ужасного! Эта женщина влюблена в мое тело, в котором я больше не находился! Эта женщина, которую я безумно любил, любила животное! Как примириться с таким положением вещей?.. А я ведь знал из случая с Макбеллом, что страсть Эммы не останавливается перед сумасшествием и что мое тело в теперешнем виде должно было ей еще больше нравиться, потому что оно производило впечатление атлетического...

Я обезумел от ярости, впервые испытал власть своего дикого тела. В припадке бешенства, задыхаясь, фыркая, с пеной у рта, я во все стороны носился по полю, рыл землю копытами и рогами и чувствовал, как во мне бушует желание убить кого-нибудь – все равно кого.

С этой минуты ненависть наполнила мою жизнь, дикая ненависть к этому сверхъестественному животному, к этому неуклюжему Минотавру, который превратил Броселианд в шутовской Крит с его лесным лабиринтом... Я ненавидел это тело, которое у меня украли, я ревновал к нему, и, когда Юпитер-Я и Я-Юпитер смотрели друг на друга, взаимно тоскуя об утраченных телах, меня снова охватывали припадки неукротимой ярости. Я бросался во все стороны, задрав хвост, с пеной у рта, с диким ревом, с опущенными рогами, готовый растерзать и жаждущий этого, как жаждут объятия весной. Коровы сторонились и укрывались, как только могли. Все звери и птицы в саду боялись взбесившегося быка; однажды даже проходивший случайно мимо Лерн убежал подальше.

Жизнь сделалась для меня невыносимой тяжестью. Я исчерпал все удовольствия, которые может принести наблюдение, и мое новое вместилище ничего, кроме огорчений и неприятностей, не доставляло мне больше. Я медленно угасал. Травы потеряла для меня аромат, вода – вкус, а общество коров сделалось мне ненавистным. Наоборот, старые привычки воскресли, вернулись и терзали невыносимо: до смерти хотелось поест мяса и... покурить... Не правда ли, это невероятно! Но были еще обстоятельства, не столь забавные и смешные: я до того боялся лаборатории, что дрожал всякий раз, как кто-нибудь из помощников приближался к пастбищу, а из страха, чтобы меня не связали ночью, во сне, я совершенно перестал спать.

Но и это не всё. Я убедил себя, что дальнейшее пребывание моего мозга в черепе жвачного животного сведет меня с ума и произойдет это из-за припадков неукротимой ярости. А припадки эти все учащались, и поведение Эммы отнюдь не способствовало уменьшению их числа.

И на самом деле, моя прекрасная подруга постоянно бродила около павильона, а на лице Минотавра все яснее проступало выражение вожеления. По правде говоря, в эти минуты он был вполне похож на человека; вот до чего похоть роднит нас со скотами. Эмма смотрела с удовольствием на это жестокое лицо, на котором ни одна черточка не вздрагивала, а глаза горели над пунцовыми скулами; такое же выражение лица я встречал и раньше у людей, предающихся разврату, выражение, которое могло бы привести в смущение самую невинную девушку... Ну разве может быть, чтобы у бога любви было такое лицо, лицо алчного убийцы? И разве можно удивляться, что столько любовниц закрывают глаза при поцелуях этого бога?

Словом, Эмма с наслаждением разглядывала эту мерзкую физиономию и не замечала, как следивший за ней Лерн исподтишка смеется над ее ошибкой.

Да, он смеялся! Но как философ – чтобы не плакать. Дядюшка страдал, и это было заметно. По-видимому, он понял, что Эмма никогда его не полюбит, и плохо переносил свое разочарование. С каждым днем он все больше старел, нагружая себя работой.

На террасе лаборатории и на крыше замка установили какие-то машины, управлением которых он был очень заинтересован. Над машинами возвышались характерные мачты, а так как в глубине обоих зданий часто раздавались звонки, то я решил, что это приспособления для беспроводного телеграфа и телефона.

Как-то утром Лерн занялся тем, что заставил проделать ряд маневров какую-то лодчонку, игрушечную миноноску на пруде. Он управлял ею с берега при помощи аппарата, тоже снабженного небольшой антенной. Телемеханика! Было совершенно ясно: профессор изучал способы передачи сообщений на расстоянии без посредников. Новый метод для перевоплощения личностей? Вполне возможно.

Меня это интересовало мало. Счастливый исход моих зловещих предсказаний казался мне теперь несбыточным чудом; стало быть, я не узнаю ни будущего открытия, ни тех тайн, которые скрывало прошлое дядюшки и его помощников.

А между тем именно в размышлениях об этих загадках я проводил бессонные ночи и бездельные дни. Но так и не находил ничего для себя нового.

Может статься, впрочем, что мой мозг обленился, потому что не удержал в памяти среди повседневных фактов, о которых я только что рассказал, нескольких, которым в своем рассказе Лерн придавал исключительное значение и подробный анализ которых дал бы мне надежду на спасение.

В середине сентября оно все-таки – абсолютно неожиданно! – совершилось, и вот при каких обстоятельствах.

С некоторого времени платоническая связь Эммы с Минотавром стала чрезвычайно тесной. Они испытывали все более острое наслаждение, разглядывая друг друга издали.

Чудовище, свыкшееся с моим телом, начало делать жесты, носившие характер примитивной сексуальности.

Что касается Эммы, которую эти жесты орангутанга несколько не отпугивали, то она усвоила себе тактику находиться под прикрытием леска. Там, невидимая для всех, кроме этого ужасного разгильдяя, который пародировал меня, как плохой актеришка, она могла, не боясь нескромных взоров, совершенно свободно изображать пылкую страсть при помощи мимики: выразительных взглядов, воздушных поцелуев, посылаемых розовыми кончиками ее белых пальцев, и целому набору красноречивых кривляний и гримас. По крайней мере я не хочу иначе истолковывать ее взгляды и телодвижения... Но ведь и этого вполне достаточно, чтобы довести животное до остервенения?

Да. Подобная мерзость все же случилась.

Как-то днем, в то время как я старался подглядеть за Эммой, скрывавшейся в тени леска, откуда она соблазняла поддельного Николя, послышался страшный звон и треск разбиваемых стекол. Минотавр, потеряв терпение, выскочил в окно павильона. Нисколько не заботясь о моем несчастном теле, он бежал, расцарапанный, растрепанный, обливаясь кровью и ревя страшным голосом.

Мне показалось, что Эмма вскрикнула и хотела убежать. Но дикое существо уже скрылось за деревьями.

Тут я услышал топот ног за своей спиной. При звуке разбитых стекол Лерн и его помощники выскочили из лаборатории; они заметили побег и мчались во весь дух к роковому лесу. К несчастью, помощники Лерна боялись меня, и круг, который им приходилось делать, чтобы избежать встречи со мной, значительно удлинял их путь. Лерн был предприимчивее и бежал

прямоком через пастбище, перебравшись через колючую изгородь и разодрав при этом свой костюм. Увы... он был стар и бежал медленно... Они все прибегут слишком поздно... Это ужасно!.. невыносимо ужасно!..

Нет! Этому не бывать!

Я бросился на хрупкую изгородь и разорвал ее, не обращая внимания на острия проволоки, вонзившиеся в грудь и ноги. Затем пробил стену зарослей и оказался в лесу.

Увиденная мною картина была достойна восхищения.

Проникавшие сквозь густую листву лучи солнца бросали яркие пятна на зеленый ковер травы. На самом краю дороги лежала бледная, измученная Эмма с закрытыми глазами; платье ее было в страшном беспорядке; по вырывавшимся из полуоткрытого рта жалобным, нежным стонам и вздохам я безошибочно мог судить о том, что произошло. Ведь так недавно я сам был героем таких же эпилогов. Перед ней стоял, бессмысленно вытаращив глаза, в самом неприличном виде мой псевдодвойник.

Но я недолго наслаждался этим зрелищем. В глазах у меня засверкали все звезды ночного неба. Кровь моментально закипела в жилах. Неукротимая ярость бросила меня с опущенными рогами вперед. Я ударил что-то, что тут же упало к моим ногам, пробежал по этому всеми четырьмя копытами, обернулся и стал топтать, топтать, топтать...

Вдруг сквозь туман я услышал прерывистый голос дядюшки:

– Эй, дружище, остановись, не то ты убьешь себя!

Мое безумие испарилось, с глаз спала завеса, и, вернувшись к реальности, я увидел следующее.

Красавица, пришедшая в себя, сидела на земле, смотрела широко раскрытыми глазами и ничего не понимала. Помощники следили за мной, спрятавшись за деревья; а Лерн, нагнувшись над моим бледным и истоптанным телом, приподнимал ему голову с большой круглой раной, из которой сочилась кровь.

И это я – *я сам!* – совершил непростительную глупость, едва не уничтожив себя.

Профессор, ощупав и осмотрев раненого со всех сторон, изрек:

– Одна рука вывихнута; сломаны три ребра, ключица и левая берцовая кость: от этого оправляются. Но вот удар рогом в голову будет посерьезнее. Хм! Поврежден мозг – дело плохо. Ему уже ничто не поможет. Через полчаса – *finita la comedia!*

Я вынужден был опереться плечом о дерево, чтобы не упасть. Стало быть, мое тело, моя основа основ, вот-вот умрет. Все кончено... Изгнанный из своего разрушенного мною же жилища, я сам же и уничтожил первейшее условие моего избавления. Все кончено... Даже сам Лерн бессилен, он это признал... Через полчаса... Мозг поврежден... Но... этот мозг... ведь он мог...

Напротив, он мог всё!

Я приблизился к дядюшке. На карте стоял мой последний шанс.

Повернувшись к молодой женщине, Лерн печально говорил ей:

– Сильно же ты, должно быть, его любила, если он был тебе мил даже в такой оболочке. Бедная моя Эмма, выходит, я совсем тебе не по нраву, если ты мне предпочитаешь полного кретина.

Эмма молча плакала, закрыв лицо руками.

– Как же сильно она его любит! – повторил Лерн, оглядывая поочередно грешницу, умирающего и меня. – Как же сильно!..

Вот уже несколько минут, как я скакал и прыгал около дядюшки, извлекая из своего горла странные звуки, стараясь передать дядюшке свои мысли. Но он был всецело занят собственными размышлениями. Не обращая никакого внимания на то, что его мрачный, взволнованный вид свидетельствует о какой-то внутренней борьбе, я, думая только о неминуемой

опасности, предотвратить которую Лерн был в состоянии, стал еще отчаяннее привлекать к себе внимание.

– Да, твое желание мне вполне понятно, Николя, – сказал наконец дядюшка. – Ты хочешь сказать, что охотно возвратил бы свой мозг в его изначальную оболочку, что может ее спасти, так как ты лишил ее возможности пользоваться мозгом Юпитера, который ты уничтожил... Ну что же... Пусть будет так...

– Спасите его! Спасите его! – умоляла моя прелюбодейная любовница, которая поняла только, что речь шла о спасении. – Спасите его, Фредерик, и я клянусь вам, что никогда больше не буду стараться увидеться с ним...

– Довольно! – сказал Лерн. – Напротив, теперь тебе придется любить его всеми фибрами твоей души! Не хочу больше тебя огорчать. К чему понапрасну бороться с судьбой?

Он подозвал помощников и отдал несколько кратких распоряжений. Карл и Вильгельм подняли и понесли в лабораторию хрипевшего Минотавра. Иоганн уже побежал туда первым.

– *Schnell! Schnell!*¹⁹ – прокричал профессор и добавил: – Скорее, Николя, следуй за нами!

Я повиновался, разрываясь между радостью, что снова вернусь в свое тело, и опасениями, как бы оно не умерло еще до операции.

Операция прошла блестяще.

Однако, так как ввиду ее спешности я был лишен предварительной подготовки к анестезии, то под парами эфира пережил назидательный, но мучительный сон.

Мне снилось, будто Лерн шутки ради, вместо того чтобы вернуть мне мое тело, заключил мой мозг в тело Эммы. Что за чистилище находится в ее оболочке! Я тосковал по тому времени, когда был быком. Мою душу обуревали нервные расстройства и буйные инстинкты, которые не давали мне ни минуты покоя. Вполне естественное желание, превосходившее мою волю, руководило всеми моими поступками, и я чувствовал, что мой мужской мозг очень слабо противится ему. Конечно, мне пришлось столкнуться с исключительным темпераментом, хронической болезнью которого было чувство любви, но все же, если внимательно присмотреться к обычному поведению мужчин и к могуществу власти Венеры над женщинами, сколько бы вышло из вас, мои братья, если бы вы поменялись своими мозгами с женщинами, порядочных девушек и сколько простых потаскушек...

А может быть, эфир – плохой гинеколог, и мои грезы ввели меня в заблуждение. Потому что все это оказалось вздорным кошмаром. Весьма возможно, что и продолжался-то он всего какую-нибудь четверть секунды и был вызван прикосновением тупого зуба пилки или острия плохо наточенного ланцета.

Операционную освещают пунцовые лучи заходящего солнца. Опуская глаза, я вижу кончики своих усов.

Это – возвращение Николя Вермона к жизни.

И вместе с тем это конец существования Юпитера. В глубине комнаты разрубают ту черную тушу, в которой я жил. Во дворе уже грызутся собаки, оспаривая одна у другой первые куски, брошенные им Иоганном.

Сломанная нога болит, ключица тоже дает о себе знать. Я вернулся в свои доспехи боли.

Лерн ухаживает за мной. Он пребывает в радостном настроении. Впрочем, чему тут удивляться? Разве он не примирился со своей совестью? Разве не искупил своей вины передо мной? Могу ли я таить против него злобу? Мне даже кажется, что я в долгу перед ним!

Насколько же правдиво изречение, что нет ничего более похожего на благодеяние, чем добровольное исправление причиненного вреда!

¹⁹ Скорее! Скорее! (нем.)

Глава 12

Лерн меняет тактику

Находясь в черной шкуре быка, я дал себе клятву, если мне удастся принять свой первоначальный вид, немедленно уехать с Эммой или без нее, но бежать во что бы то ни стало. А между тем осень уже приближалась к концу, а я все еще не покинул Фонваль.

Все дело в том, что теперь со мной обращались совершенно иначе, чем прежде.

Прежде всего, я располагал своим временем. И воспользовался этой свободой для того, чтобы немедленно отправиться на лужайку и изгладить на ней всякие следы моего пребывания там. Благоволивший ко мне Бог устроил так, что никто не приходил туда за время моего буколического времяпрепровождения на пастбище и ни один из обитателей Фонваля не заметил, что я осквернил кладбище. Но все же было очевидно, что либо хоронили теперь в другом месте, либо вивисекции подвергались такие маленькие животные, что от них ничего не оставалось, либо опыты *in animâ vili*²⁰ были совершенно заброшены Лерном.

Между прочим, должен отметить, что, приводя кладбище в порядок, я отметил факт, который снял с моей души большую тяжесть. Я все время боялся, не заключена ли душа несчастного Клоца в тело какого-нибудь тщательно скрываемого животного? Но внимательный и подробный осмотр его трупa рассеял мои сомнения по этому поводу. Мозг мертвеца находился в глубине черепной коробки; даже можно было еще рассмотреть глубокие и многочисленные извилины его. Количество и глубина их несомненно доказывали человеческое происхождение этого мозга, так что – благодарение небу! – речь могла идти только о простом и невинном убийстве.

Итак, я пользовался полной свободой.

Во время моего выздоровления у моей кровати сидел, ухаживая за мною, раскаивающийся и нежный Лерн – конечно, не тот Лерн, которого я знал в дни своего детства, не веселый, жизнерадостный спутник тетушки Лидивины, но уже и не свирепый и кровожадный хозяин, который принял меня вопреки своей воле.

Когда дядюшка увидел меня оправившимся, вставшим на ноги, он пригласил Эмму и сказал ей в моем присутствии, что я вылечился от временного припадка сумасшествия и что теперь ей придется любить меня до обожания.

– Что касается меня, – добавил он, – то я, со своей стороны, отказываюсь от уже не подходящих моему возрасту упражнений. Эмма, у тебя будет теперь своя комната – рядом с моей; та, в которой хранятся твои вещи. Единственное, о чем я вас прошу, – это не покидайте меня. Внезапное одиночество только увеличит мое горе, которое вы легко поймете и за которое вы оба не станете сердиться на меня. Это чувство пройдет: я постараюсь забыться за работой... Но не волнуйся, дочь моя: большая часть доходов от моего изобретения достанется тебе. Тут все осталось неизменным, и Николя упомянут в моем завещании и станет моим компаньоном, несмотря на то что ты обманывала меня с ним. Итак, любите друг друга и живите в мире.

Сказав это, профессор отправился к своим электрическим машинам.

Эмма ничему не удивлялась. Доверчивая и наивная по натуре, она аплодировала дядюшке за его тираду. Я, зная, какой он комедиант, должен был бы сказать самому себе, что он надел личину доброты, чтобы удержать меня у себя или потому, что опасался моих разоблачений, или потому, что я ему был нужен для исполнения какого-то нового плана; две цирцейские операции отразились как на моей памяти, так и на способности к рассуждению. «К

²⁰ На малоценном организме (*лат.*), то есть на подопытных животных.

чему, – уговаривал я сам себя, – к чему сомневаться в этом человеке, который по своей доброй воле извлек меня из темной пучины? Он продолжает идти по пути благодеяний! Тем лучше».

* * *

Словом, началась усладительная, но безнравственная жизнь. Жизнь, полная любви и абсолютной свободы для меня и полная трудов и самоотречения, по крайней мере внешнего, – для Лерна. Все трое были скромны и сдержанны: мы с Эммой – в излишних чувствах, дядюшка – в своем горе и страданиях.

Кто бы мог верить в преступления профессора при виде его работоспособности, его семейной жизни и добродушной внешности? Кто бы поверил, что он заманил меня в ловушку? Кто бы поверил в убийство Клоца? В превращение Макбелла в Нелли, которая в протяжном вое не переставала поверять свои жалобы всем ветрам и ночным звездам, жалобы на то состояние, ужас которого я сам пережил.

Потому что Нелли до сих пор жила среди собак. И меня ставило в тупик, что Лерн продолжал наказывать ее за вину, которая уже не была важна теперь, когда Эмма не занимала больше в его сердце того места, что раньше.

Я решил поговорить по этому поводу с дядюшкой.

– Николя, – ответил он мне, – ты коснулся самого больного моего места. Но что мне делать? Как быть? Для того чтобы восстановить нормальный порядок вещей, совершенно необходимо, чтобы тело Макбелла вернулось сюда... Что можно придумать столь убедительного, чтобы заставить отца отпустить к нам Макбелла? Подумай над этим. Помогите мне. Я клянусь тебе, что начну действовать, не медля ни секунды, как только один из нас найдет способ вернуть Макбелла.

Этот ответ рассеял мои последние предубеждения. Я не задумывался над вопросом, почему Лерн ни с того ни с сего так внезапно переменился. Мне казалось, что профессор просто-напросто почувствовал угрызения совести и раскаялся; я ждал, что все его прежние качества постепенно вернуться, как вернулось прямодушие (за это я принимал все его поведение и разговоры), не уступавшее по своей глубине его общепризнанной учености, которая никогда не оставляла его.

А его знания были почти безграничны. Я с каждым днем все больше убеждался в этом. Мы возобновили наши прежние прогулки, и он пользовался всем, что попадалось ему под руку или на глаза, чтобы читать мне целые научные лекции. По поводу валявшегося на земле листочка я выслушал полный курс ботаники; лекция по энтомологии была прочитана мне после находки мокрицы; капля дождя вызвала химический потоп; так что, пока мы дошли до опушки леса, я прослушал полный курс естественного факультета из уст Лерна.

Но именно на этом месте, на границе леса и полей, и стоило слушать его особенно внимательно. Пройдя последнее дерево, он неизменно останавливался, взбирался на межевой столб и начинал говорить о природе. Он до того гениально описывал землю и небо, что казалось, будто земля раскрывает перед вами свои недра, а небеса – свою бесконечную глубину. Он с одинаковой легкостью и с одинаковым знанием рассказывал как о геологических слоях, так и о соотношении планет. Он анализировал строение облака, причину возникшего ветерка, вызывал к жизни доисторическое строение Земли, предсказывал будущую геологическую картину этой местности. Он окидывал своими зоркими глазами все, начиная с близкой хижинки бедняка, кончая голубоватой линией горизонта. Всякая вещь была описана коротким метким словом, которое срывало с нее покров и ставило на ее настоящее место, и так как он делал широкие жесты, указывая на то, о чем говорил, то казалось, будто от его рук тянутся лучи, освещающие и благословляющие все, что он описывал.

Возвращение в Фонваль обычно не сопровождалось научными лекциями. Дядюшка погружался в задумчивость и, по-видимому, размышлял о вещах, слишком отвлеченных и трудных для моего ума. По дороге он мурлыкал себе под нос любимый рефрен, которому, должно быть, научился от своих помощников: «Рум-фил-дум-фил-дум».

Затем, как только мы приходили домой, он поспешно удалялся в лабораторию или оранжерею.

Наши пешие прогулки чередовались с поездками на автомобиле. В последних случаях дядюшка садился на другого своего конька. Он классифицировал животных нашего времени, доисторического времени и животных будущего, среди которых автомобиль, несомненно, займет главное место. И это предсказание неизменно заканчивалось восторженным панегириком в честь моей восьмидесятилетней машины.

Он пожелал научиться управлению автомобилем. Это была нетрудная задача. За три урока я научил его блестяще с этим справляться. Теперь он всегда сидел за рулем, чему я был очень рад, так как после двойной операции, перенесенной мною, и двойной спайки моих зрительных нервов мои глаза очень быстро уставали от напряженного взгляда в дорогу. Кроме того, я плохо слышал левым ухом, но не хотел говорить об этом Лерну из опасения усилить его угрызения совести, и так его, судя по всему, немало терзавшие.

* * *

Как-то раз после одной из этих поездок, приводя машину в порядок – мне поневоле приходилось заниматься этим самому, – я нашел между сиденьем и спинкой на месте Лерна записную книжечку, выскользнувшую из его кармана. Я положил ее в свой, намереваясь вернуть ему при встрече.

Но, вернувшись к себе в комнату, я из любопытства раскрыл ее. Она была заполнена заметками и эскизными набросками, сделанными наскоро карандашом. Было похоже на то, что это ежедневные записи лабораторной работы. Рисунки, на мой взгляд, ничего не обозначали. Текст состоял главным образом из немецких фраз, беспорядочно перемежавшихся с французскими. В общем, я ничего не понял. Однако под вчерашним числом я нашел заметку менее хаотического характера, чем предыдущие; мне показалось, что она представляет собою резюме всех остальных страниц, а несколько связных французских слов придавали заметке столь странный смысл, что во мне сразу проснулся неистребимый сыщик и новорожденный лингвист. Вот эти существительные, между которыми были вставлены немецкие слова:

Передача... мысль... электричество... мозги... элементы...

При помощи словаря, похищенного в комнате Лерна, я разобрал эту квазикриптограмму, в которой, на мое счастье, одни и те же выражения часто повторялись. Вот перевод ее. Я передаю ее такой, какой перевел, причем обращаю внимание, что я не специалист в этих вещах, а кроме того, страшно торопился, чтобы не затягивать с возвращением книжки.

Выводы к 30-му числу

Преследуемая цель: перемещение личностей без перемещения мозга.

* * *

Основной пункт: прежние опыты доказали, что всякое тело обладает душой. Ибо душа и жизнь нераздельны между собой и все организмы в промежутке времени между рождением и смертью обладают более или менее развитой, в зависимости от степени своего развития, душой.

Таким образом, начиная с человека, переходя к полипу и кончая мхом, все существующее обладает ему одному свойственной душой. (Разве растения не спят, не дышат, не переваривают пищу? Почему же нельзя допустить, что они мыслят?)

Это доказывает, что душа существует даже там, где нет мозга.

Следовательно, душа и мозг независимы друг от друга.

Ввиду этого я утверждаю, что можно обмениваться душами, не перемещая для этого мозг

Опыты по передаче

Мысль представляет собою электрическую цепь, одним из элементов которой служит наш мозг. (Может быть, мозг – аккумулятор, – этого я еще точно не знаю; но одно, безусловно, верно: передача мысленного флюида (тока) производится путем, аналогичным тому, каким передается электрический флюид.)

Опыт от 4-го числа доказывает, что мысль передается при помощи проводников.

Опыт от 10-го – что она передается без проводников, по волнам эфира.

Следующие опыты обнаружили слабое место, которое я здесь указываю.

Душа, направленная в чужой организм без ведома этого последнего, сдавливает, если можно так выразиться, душу этого организма, но не в состоянии изгнать ее и занять ее место; а сама эта душа – изгоняемая из своего организма – тоже не в состоянии совершенно покинуть его, а прикреплена к нему каким-то непонятным и необъяснимым мысленным отростком, которого ничто до сегодняшнего дня разрушить не может.

Если оба подвергающиеся эксперименту лица согласны на него, опыт не удастся по той же причине. Большая часть обеих душ прекрасно размещается в организмах обоих партнеров, но досадный мысленный отросток мешает каждой душе покинуть окончательно свой организм, несмотря на стремление к этому.

Чем примитивнее тот организм, куда душа внедряется, по сравнению с тем, который направляет свою душу, тем полнее совершается завоевание чужого тела и тем больше *утончается* отросток, который удерживает душу в старом теле, но все же отросток никогда не уничтожается полностью.

20-го я мысленно внедрил свою душу в Иоганна.

22-го я проделал этот опыт с кошкой.

24-го – с ясенем.

Доступ был каждый раз все легче, с каждым разом я все полнее овладевал их душой, но отросток не исчезал.

Я подумал, что опыт удастся вполне над трупом, потому что в этом случае совершенно будет отсутствовать флюид, заполняющий вместилище, которое стремишься занять. Я не сообщил, что смерть несовместима с понятием о душе, так как существование души предполагает существование жизни. Мы напрасно потеряли время, и ощущение было отвратительное.

* * *

Чисто теоретически – что нужно сделать, чтобы отросток исчез? Необходимо иметь в своем распоряжении организм, в котором совершенно нет души (для того чтобы можно было туда поместить свою целиком, без остатка), но который в то же самое время не был бы мертвым; иными словами: «никогда не жившее организованное тело». Это невозможно.

Следовательно, на практике все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы избавиться от отростка каким-нибудь побочным путем, который я пока ни в малейшей степени не вижу.

* * *

И все-таки нельзя отказать опытам этого периода в довольно занятных результатах, ибо мы констатировали следующие факты:

1. Человеческий мозг почти целиком перемещается в растение.

2. Два человека при взаимном согласии (непременное условие) могут почти целиком обмениваться своими личностями, оставляя в стороне, конечно, вопрос об отростке, который делает эти души чем-то вроде сестер или сиамских близнецов, сросшихся мозгами...

3. Если же взаимного согласия нет и приходится действовать насильно, то сжимание той души, которую хочешь заместить, дает тоже довольно любопытные результаты; преимущество оказывается у того, кто внедряет свою душу; эти результаты отчасти достигают той цели, к которой я стремлюсь, и доказывают, что, если мне удалось бы добиться ее, моя задача была бы блестяще разрешена.

Но она кажется мне неразрешимой.

* * *

Вот, значит, куда вели те универсальные знания моего дядюшки, которыми я так восторгался и которыми сам он так гордился.

Его теория хоть кого могла сбить с толку. Она должна была бы повергнуть меня в изумление. В ней прослеживалась отчетливая тенденция к спиритуализму, довольно курьезная в таком материалисте, как Лерн. Его теория казалась до того фантазмагоричной, что, познакомившись с ней, немало глаз за стеклами ученых очков, начитанных пенсне, смелых моноклей раскрылось бы от изумления, смешанного с недоверием. Что касается меня, я не понял сразу всех изумительных сторон его открытия, так как все еще не совсем оправился тогда. Я даже не понял, что перевел что-то вроде французско-немецкого «мене, текел, фарес», адресованных мне. Мое внимание привлекло выражение «организованное тело, которое никогда не жило», а также сомнения профессора в том, что ему удастся когда-нибудь добиться уничтожения отростка. Значит, его предприятие окончилось неудачей. После всех его последних выходов я был убежден, что он может творить всякие чудеса; только одно могло меня повергнуть в изумление: его признание в собственном бессилии.

* * *

Я отправился на поиски дядюшки, чтобы передать ему книжечку. Толстуха Барб, которую я встретил по дороге, сообщила мне, что он гуляет по парку.

Там я его не нашел. Но на берегу пруда я увидел Карла и Вильгельма, которые внимательно смотрели на воду. Я питал отвращение к этим двум грубым субъектам, меня отталкивала мысль, что у них перемещены мозги, и я всегда старательно избегал их общества. Но на этот раз зрелище, привлечшее их внимание к пруду, заставило и меня подойти к ним поближе.

Из воды в алмазных брызгах выскакивал и погружался обратно карп. Он шевелил плавниками, будто крыльями, и потому казалось, что он хочет улететь.

Несчастный, он действительно к этому стремился. Передо мной была та рыба, которую Лерн наделил мозгом черного дрозда. В пленной птице, заключенной в свою чешуйчатую темницу, проснулись воспоминания о прежней жизни, и она рвалась в недостижимое для нее небо из своего надоевшего ей холодного узилища. Наконец после отчаянного усилия, трепеща жабрами, карп упал на берег. Тогда Вильгельм схватил его, и оба помощника удалились со

своей добычей. Они поддразнивали ее, как расшалившиеся грубые и жестокие уличные мальчишки: они насвистывали, насмешливо подражая пению дрозда, и хохотали, причем смех их был похож на ржание, и, сами не зная того, они гораздо удачнее подражали ржанию лошади, чем пению птицы.

Я стоял и задумчиво смотрел на пруд – эту волнующуюся мокрую клетку, в которой заколдованное существо мучительно рвалось ввысь и тосковало по гнезду. Теперь его мучения окончатся на плите. А каким образом и когда завершатся страдания остальных жертв: вырвавшихся на свободу животных? И Макбелла... Ах, Макбелл! Как его спасти?!

На спокойной, уснувшей поверхности воды сглаживался последний круг, и небесный свод снова отражался в ровном зеркале. Вечерняя звезда сияла в бесконечно далеком небе... но достаточно было захотеть, чтобы представить, что она сверкает на поверхности воды. Листья болотных лилий, самых разнообразных форм – круглые, полукруглые и серповидные, – походили на отражения луны в различных стадиях ее появления, заключенные в эту застывшую от сна воду.

«Макбелл! – не выходило у меня из головы. – Макбелл... Что делать?»

В этот миг я услышал отдаленный звон колокольчика у входных ворот. Кто бы это мог быть так поздно? Какой-нибудь гость? Но сюда никто никогда не приходил с визитами!

Я быстрым шагом направился к замку, впервые задумавшись над тем, что случится с Николя Вермоном, если в Фонваль вдруг вздумают явиться представители правопорядка.

Спрятавшись за углом замка, я рискнул высунуть голову, чтобы посмотреть, в чем дело.

Лерн стоял в дверях и читал только что полученную телеграмму. Я вышел из своего укрытия.

– Вот, дядюшка, держите, – сказал я. – Записная книжка. Полагаю, это ваша... Нашел ее в автомобиле на вашем месте.

Услышав позади себя шелест юбок, я обернулся.

К нам приближалась Эмма, залитая лучами заходящего солнца, в красном свете которого ее волосы словно обновляли каждый вечер свой запас огненного цвета. Напевая что-то вполголоса, она грациозно подходила к нам, и ее походка напоминала, как всегда, танец.

Тоже заинтригованная звонком, она поинтересовалась содержанием телеграммы.

Профессор не отвечал.

– Боже, – пробормотала она, – да в чем дело? Что еще приключилось?

– Что-то серьезное, дядюшка? – спросил в свою очередь уже и я.

– Нет, – ответил Лерн. – Донифан умер. Только и всего.

– Бедный мальчик! – сказала Эмма. Затем, после продолжительного молчания, добавила: – Но уж лучше умереть, чем оставаться сумасшедшим. В конце концов, для него это самый благополучный исход... Да ладно тебе, Николя, не делай такое лицо... Пойдем!

Она схватила меня за руку и потащила в замок. Лерн пошел своей дорогой.

Я был потрясен.

– Оставь меня! Оставь! – вскричал я вдруг. – Это так ужасно! Донифан!.. Несчастный!.. Ты не понимаешь, не можешь понять... Да оставь же ты меня, в самом деле!

Меня охватил невообразимый ужас. Освободившись от Эммы, я побежал вслед за дядюшкой и нагнал его у входа в лабораторию. Он разговаривал с Иоганном, показывая тому телеграмму. Немец исчез в доме в ту самую минуту, когда я подошел к профессору.

– Дядюшка! Вы же ничего ему не сказали?... Иоганну?

– Ну почему же – сказал. А что?

– Ох! Ведь он расскажет об этом другим. О смерти Макбелла станут судачить... И Нелли наверняка тоже об этом услышит. Они ей расскажут... Ох! Да поймите же вы: душа Донифана узнает, что у нее нет больше человеческой оболочки... А этого не нужно! Не нужно!

Дядюшка с раздражающим хладнокровием произнес:

– Опасности нет ни малейшей. В этом я тебе ручаюсь, Николя.

– Ни малейшей? Почему вы знаете? Это мерзкие люди; говорю вам, они всё ей расскажут! Позвольте мне отвести этот риск... Время не терпит... Позвольте мне войти, прошу вас!.. Пожалуйста! Пройти туда на минутку... Молю вас!.. Черт подери, я пройду!..

Уроки быка не прошли для меня без пользы: я бросился вперед, нагнув голову. Дядюшка растянулся на траве от удара в живот, а я ударом кулака отворил полузакрытую дверь. Честный Иоганн, стоявший за нею на часах, упал с разбитым в кровь носом. Тогда я проник во двор, твердо решив увести с собой собаку, чего бы это мне ни стоило, и больше не расставаться с ней.

Вся свора разбежалась по будкам. Я сразу увидел Нелли, которой отвели отдельное от других собак помещение. Ее большое, наголо остриженное, изможденное тело лежало у самой решетки.

Я позвал:

– Донифан!

Она не пошевелилась. В глубине темных будок сверкали зрачки собак. Некоторые зарычали.

– Донифан! Нелли!

Молчание.

У меня возникло страшное предчувствие: и здесь прошла со своей косой Смерть!

Да. Нелли лежала похолодевшая и вытянувшаяся. Судя по всему, ее задушила цепь, которой она была привязана. Я уже намеревался убедиться в этом, когда во двор вошли Лерн и Иоганн.

– Негодяи! – вскричал я. – Вы убили ее!

– Нет. Честное слово! Клянусь тебе, – заявил дядюшка. – Утром ее нашли в том самом положении, в котором ты ее видишь сейчас.

– То есть вы думаете, что она это сделала нарочно? Покончила с собой? О, какой ужасный конец!

– Возможно, – сказал Лерн. – Но есть и другое объяснение, более правдоподобное. По моему убеждению, цепь натянулась из-за сильных судорог... это тело было очень больным. Вот уже несколько дней, как проявилась гидрофобия... Я ничего от тебя не скрываю, Николя. Сам видишь, я никоим образом не пытаюсь снять с себя ответственность и не ищу оправданий.

– О! – в ужасе пробормотал я. – Гидрофобия... бешенство!

Лерн спокойно продолжал:

– Возможно, к смерти привело и нечто другое, нам неизвестное. Нелли нашли мертвой сегодня в восемь утра. Она была еще теплой. Смерть наступила примерно за час до того.

Профессор взглянул на телеграмму.

– Ну вот! – добавил он. – Макбелл скончался в семь часов, как раз в то же время.

– От чего? – спросил я, задыхаясь. – От чего умер он?

– Тоже от бешенства.

Глава 13

Опыты? Галлюцинации?

Мы втроем – Эмма, Лерн и я – находились после завтрака в малой гостиной, когда у профессора случился обморок.

Это был уже не первый подобный случай; с некоторого времени я заметил, что со здоровьем моего дядюшки происходит что-то неладное. Но до сих пор все его недомогания носили туманный характер – это был первый ясно выраженный, характерный случай, так что я мог наблюдать все детали его и странные обстоятельства, которыми припадок сопровождался. Вот почему я буду говорить главным образом об этом. Всякий, не знающий о том, что тут происходило, объяснил бы этот обморок мозговым переутомлением. Да и на самом деле, дядюшка работал поразительно много. Он уже не довольствовался оранжереей, лабораторией и замком: он присоединил к ним весь парк. Теперь весь Фонваль ошестинился странными шестами, невиданными мачтами, необыкновенными семафорами; и когда оказалось, что некоторые деревья мешают производству опытов, была вызвана армия дровосеков, чтобы вырубить их. Радость, которую я испытал, увидев, что люди получили право свободного доступа в это имение, утешила меня в горе, причиненном мне этой святотатственной вырубкой. Весь Фонваль превратился в огромную лабораторию, и целый день можно было видеть, как дядюшка лихорадочно носится от одного здания к другому, от одной мачты к другой в поисках способа уничтожить фатальный отросток. Но порой у него случались минуты слабости под влиянием припадков, о которых я начал говорить. Обыкновенно это происходило в то время, когда, погруженный в глубокую задумчивость, он начинал пристально вглядываться в какой-нибудь предмет; вот тут-то, в полном разгаре его мозговой деятельности, он вдруг начинал бледнеть, чувствуя приближение припадка. Он делался все бледнее и бледнее... пока цвет лица сам собою постепенно не становился нормальным. После припадков он казался вялым и апатичным. Терял мужество, и я слышал, как после одного из них он бормотал унылым тоном: «Я никогда не добьюсь этого... никогда». Часто мне хотелось заговорить с ним по этому поводу. На этот раз я решился.

* * *

Мы пили кофе. Лерн, сидевший в кресле напротив окна, держал в руках чашку. Говорили о том о сем, причем слова раздавались все реже и реже. За отсутствием какой-либо заслуживающей внимания темы разговор не клеился; мало-помалу он совсем прекратился, как гаснет огонь, когда догорают дрова.

Пробили настенные часы, и за окном, направляясь на работу с топором на плече, прошли дровосеки. Глядя на них, я мысленно представил себе грузных ликторов²¹, идущих чинить пытки деревьям.

Который из моих старых приятелей погибнет сегодня? Этот бук? Или вот то каштановое дерево?... Сквозь оконное стекло я видел, как их темнеющая листва выделялась на общем фоне пожелтевшего леса. Только сосны чернели. В воздухе кружились и падали желтые листья, хотя не было даже ветерка. Колоссальный тополь возвышался своею седою головой над вершинами остальных деревьев. Я давно помнил его таким же великаном и, глядя на него, перенесся мыслями в детство...

Вдруг на нем началась птичья паника; две вороны улетели с него, каркая; белка, прыгая с ветки на ветку, устремила на соседнее ореховое дерево. Должно быть, на дерево влез какой-

²¹ *Ликтор* (лат. *lictor*) – лицо, сопровождавшее высших магистратов в Риме.

нибудь зверь и перепугал их. Я не мог его разглядеть, потому что густые кусты закрывали от меня низ ствола. Но я испытал тяжелое чувство, когда увидел, как оно задрожало сверху донизу, пошатнулось и медленно закачало своими ветвями. Казалось, задул ветер, но только для него одного.

Моя мысль вернулась к дровосекам, но без определенной связи с этими явлениями. «Неужели дядюшка приказал им, – подумал я, – срубить этот тополь, который является почтенным патриархом этого леса, царем Фонваля? Это было бы досадно и несправедливо». Подумав это, я повернулся к Лерну, чтобы спросить, и тут-то я и увидел, что с ним повторился его обычный припадок.

Я заметил его неподвижность, бледность, напряженность взгляда – словом, все отличительные признаки припадка; кроме того, мне удалось определить, куда направлен с такой настойчивостью взгляд человека, находящегося в сомнамбулическом сне. Он, оказывается, смотрел на тополь, движения которого были страшны и до ужаса напоминали любовные воинственные объятия пальмовых листьев в оранжерее... Я вспомнил о записной книжечке. Не существовало ли какой-нибудь скрытой связи между слабостью этого человека и оживлением этого дерева...

Вдруг раздался глухой звук удара топора о ствол. Тополь содрогнулся, задрожал... дядюшка подскочил на месте: выпавшая из его рук чашка разбилась вдребезги, а он, в то время как кровь медленно прилиwała к его бледным щекам, схватился за ногу, точно топор дровосека ударил одновременно и дерево, и человека.

Между тем Лерн мало-помалу приходил в себя. Я сделал вид, что не заметил ничего, кроме обморочного состояния, и сказал ему, что ему следовало бы полечиться, так как эти часто повторяющиеся обмороки в конечном счете доведут его до могилы, а затем поинтересовался, известно ли ему хотя бы, чем они вызваны?

Дядюшка кивком показал – да, мол, известно. Эмма уже суежилась вокруг его кресла.

– Я знаю, в чем дело, – сумел наконец выдать из себя Лерн. – Сердцебиение... обмороки... на сердечной почве... я лечусь...

Но это была неправда. Профессор и не думал лечиться. Он последовательно сжигал свою жизнь, гонясь за химерой и заботясь о теле не больше, чем о какой-нибудь старой рухляди, которую следует выбросить, как только она отслужит свою службу.

– Почему бы вам не прогуляться? – предложила ему Эмма. – Свежий воздух пойдет вам на пользу.

Он вышел в парк, и мы увидели, как с трубкой в зубах он направился к тополю. Удары топора все учащались. Дерево склонилось, упало... Звук от падения напомнил землетрясение. Ветви слегка задела дядю – он не отступил ни на шаг в сторону.

Лишившись этого гиганта, Фонваль теперь казался еще более плоским, и я тщетно старался восстановить в своем воображении место уже позабытое, которое занимал в парке тополь, и его высоту, казавшуюся легендарной. Лерн вернулся. Он даже не отдавал себе отчета, что подвергнулся опасности. Становилось жутко при мысли, что он мог быть таким же рассеянным во время своих рискованных опытов, например при перемещениях душ, о которых упоминалось в книжечке...

Присутствовал ли я при одном из этих опытов? Я думал об этом со страхом, с тем странным ощущением, которое я столько раз испытывал в Фонвале, словно двигался на ощупь в абсолютной темноте. Случайно ли совпал обморок Лерна с волнением дерева? Или же между ними существовала какая-то связь в момент удара топором по стволу?... Конечно, достаточно было приближения дровосеков к тополю, чтобы обеспокоенные птицы улетели... И колыхание листьев легко было объяснить тем, что кто-то влез на дерево, чтобы привязать веревку...

Вновь я стоял на перекрестке всевозможных решений интересовавших меня вопросов. Но мой мозг утратил свойственную ему проницательность: притупляющее действие цирцей-

ских операций еще не прошло, а любовные утехы, которые дарила мне Эмма с молчаливого согласия дядюшки, тоже не способствовали восстановлению.

А так как разврат всегда был для меня большим соблазном, то я так же не мог обходиться без Эммы, как курильщик опиума без своей трубки или морфинист без своего шприца. (Да простит мне глупенькая чаровница это сравнение хотя бы из-за его верности!) Я осмелел настолько, что часто проводил ночи в комнате моей любовницы, рядом с комнатой Лерна. Как-то вечером он застал нас в ней и воспользовался этим случаем, чтобы на следующий день повторить нам условия контракта: «Полная свобода любить друг друга, но с непременным условием не избегать и не покидать меня. В противном случае вы ничего не получите от меня». Говоря это, он обращался главным образом к Эмме, так как знал, как неотразимо действует на нее это обещание.

Я до сих пор удивляюсь и не могу понять, как я по доброй воле согласился на такое позорное предложение. Но женщина сильнее самого искусного заклинателя: выразительный взгляд любимых очей, непередаваемое грациозное движение тела – и вся ваша жизнь идет шиворот-навыворот; мы совершенно меняемся скорее и полнее, чем от прикосновения волшебной палочки или скальпеля хирурга. Что такое Лерн в сравнении с Эммой?..

Эмма!.. Несмотря на то что профессор был рядом, я проводил с ней все ночи. Он находился прямо за перегородкой и спокойно мог нас слышать, подглядывать за нами в замочную скважину... Да простит меня Бог, но должен сознаться, что меня это даже возбуждало; в этом было нечто пикантное, некий порочный стимул для продолжения наших оргий.

Но и без того – какое это было пиршество! С каждой ночью все более и более восхитительное!

Простосердечная и непосредственная натура, изобретательная любовница, Эмма обладала даром удивительно разнообразить древний, как мир, акт любви, который неизменен в своей основе, но обряды которого столь же разнообразны, как сам мир. Она умела любить по-разному, не прибегая к этим пронумерованным, упоминаемым во всех каталогах легкомысленных писателей XVIII века позам, к слову сказать, очень скучным, а благодаря каким-то оригинальным, трудно определимым и очаровательным свойствам своей натуры. Она была многообразна в любви, развратна инстинктивно, моментально превращаясь из тиранической повелительницы в легкую добычу. Ее тело поддавалось всем ее лукавым и забавным выдумкам. Так как сплошь и рядом поза и жесты необузданной куртизанки благодаря какому-то непроизвольному целомудренному движению или благодаря внезапно наступившей неподвижности превращались до полного обмана в движения очень молодой девушки. Ах! Это тело обезумевшей девиственницы, производившее такое странное впечатление незрелости...

Мне кажется, что я достаточно подробно описал наше времяпрепровождение, чтобы читатель получил представление о том, насколько оно мне было дорого, – и уж если я вынужден был решиться прекратить наши отношения, то причина для этого должна была быть необычайно серьезна.

Причиной этой стало следующее приключение, которое я объяснил бы, вероятно, состоянием своей нервной системы после операции, если бы я заблаговременно не познакомился с содержанием дядюшкиной записной книжки. Весьма возможно, что я приписал бы его «патологическому последствию операции», и Лерну удалось бы насмеяться надо мной до конца. К счастью, я сразу разгадал его тактику.

* * *

Как-то вечером, когда я по привычке проходил по первому этажу, чтобы пройти в комнату Эммы, я услышал, как в комнате Лерна, находящейся над столовой, передвигают кресло. В этот поздний час он обыкновенно уже засыпал; эта мелкая подробность не произвела на меня

никакого впечатления. Я продолжал свой путь, не заботясь о том, чтобы ступать тихо, так как я шел не на тайное, а на разрешенное свидание.

* * *

Эмма завивала на ночь последний локон. К обычному благоуханию этой комнаты приешивался запах горелой бумаги, на которой пробовали, не слишком ли сильно нагрелись щипцы; мне кажется, это та самая дьявольская нотка, едва ощутимая в аромате красоток в коротких платицах.

Рядом все стихло. Для вящей предосторожности я запер комнату на задвижку с той стороны, где находилась комната Лерна. Нам нечего было, таким образом, бояться неожиданного дядюшкиного появления, конечно не представлявшего опасности, но все же несвоевременного. Сквозь скважину было видно, что в соседней комнате свет потушен. Ни разу я еще не предпринимал таких мер предосторожности.

Вся дрожа, окутанная муслинами и легкими кружевами, Эмма увлекла меня к постели.

Две яркие лампы горели на камине, потому что восхитительное зрелище взаимного восторга не заслуживает презрения; и надо быть благодарным природе, которая хочет, чтобы каждое из наших шести чувств было задействовано в этом наслаждении.

Эмма воздействовала на них постепенно. Мое счастье зажигалось о ее восторги и оживало от прикосновения к яркому пламени ее чувства. При ней божественная комедия замыкалась в полный круг. Все там было: пролог, неожиданные повороты, ловкие проделки, развязка. И действие развивалось как в великолепных пьесах: происходили именно те события, которых ждешь, но всегда совершенно неожиданно.

Сначала Эмма пожелала, чтобы ее ласкали...

Затем, сочтя прелиминарии уже достаточно продолжительными, приняла позу героини и захотела в этот вечер, как и во многие предыдущие, проскакать невероятный брачный галоп.

И тут, когда она, как опытная валькирия, мчалась к бездне наслаждений, произошло нечто поразительное и ужасное.

Вместо того чтобы подниматься по сладострастной тропинке наслаждения к пароксизму страсти, мне показалось, что я испытываю противоположное чувство, удовольствие постепенно уступало место безразличию. Я продолжал чувствовать себя бодрым, все возрастающая страсть жгла мою кровь, но чем больше увлекалось мое тело, тем меньше я этим наслаждался... Этот печальный результат взволновал меня. Но вот и это волнение улеглось... Я хотел усмирить свое разгоряченное тело, но куда там – моя воля ослабевала с каждой минутой. Я чувствовал, как мой мозг сжимается; и моя душа, сделавшаяся совсем маленькой, потеряла способность управлять моим телом и воспринимать его ощущения. Едва-едва мне удавалось отдавать себе отчет в поступках моего тела и заметить, что оно проявляет совершенно исключительную энергию, чем Эмма, по-видимому, была очень довольна.

Надеясь прекратить это, я постарался собрать волю в кулак. Казалось, что чья-то чужая душа захватила место моей и, управляя по своему усмотрению мной, впитывает в себя наслаждение посредством моих нервов. Эта душа загнала мое собственное «я» в уголок моего мозга; какой-то самозванец обманывал меня с моей любовницей, тоже введенной в заблуждение, при помощи какого-то гнусного перевоплощения!

Такие размышления терзали мою душу – душу карлика. К моменту апофеоза душа эта сделалась до того незначительной, что я испугался, как бы она совсем меня не покинула.

Потом она стала расти, увеличиваться в объеме и постепенно заняла целиком принадлежащее ей место. Мои мысли прояснились. Меня охватило сильное утомление – арьергард Эроса, правую ногу свело судорогой. Мое плечо онемело: на нем лежала голова Эммы, и неизбежный у нее обморок не дал ей времени и возможности опустить голову на подушку.

Моя душа продолжала вступать в свои права. Но это длилось довольно долго. Мои глаза еще ни разу не мигнули: их взгляд был устремлен в одну точку, и я заметил теперь, что в продолжение этого необыкновенного времени чьи-то глаза, не отрываясь, смотрели в замочную скважину из комнаты Лерна. Даже и сейчас они не могли оторваться от нее...

Я освободился от объятий ненужной и бесполезной теперь возлюбленной... У самой двери, по ту сторону ее, послышался легкий шум, точно кто-то встал со стула и отходил от нее на цыпочках... Замочная скважина производила на меня впечатление маленького темного окна, выходящего в тайну...

Эмма прошептала:

– Никогда еще, Николя, ты не доставлял мне такого наслаждения. Может, повторим?

* * *

Я убежал, ничего не ответив.

Теперь мне все виделось предельно ясно. Разве профессор не признался мне: «Я думал было перевоплотиться в твою внешность, чтобы быть любимым». Его старание спасти мое истерзанное тело, метод, изложенный в записной книжке, история с тополем – все это стало его религией. Так называемые обмороки делались подозрительно похожими на опыты, во время которых Лерн при помощи чего-то вроде гипнотизма переносился душой в заранее назначенные места. Приложив глаз к замочной скважине, он перелил свое «я» в мой мозг, пользуясь своим несовершенным еще открытием... Мне скажут, что фантастичность моих рассуждений должна была бы заставить меня усомниться в них; но в Фонвале фантастичность была возведена в закон, всякое объяснение имело тем больше шансов быть правильным, чем абсурднее оно казалось на первый взгляд.

Ах, эта мысль о глазах Лерна у замочной скважины! Они, эти глаза, преследовали меня и казались мне всемогущими, как глаза Иеговы, преследовавшие с высоты небес грешного Каина...

Хотя сейчас я и шучу над этим, но тогда мне было совсем не до шуток, так как новая опасность была для меня ясна, и я думал только о том, как избежать ее. После довольно долгих размышлений я остановился на единственном разумном плане, который я, собственно говоря, давным-давно должен был бы привести в исполнение: на отъезде. Конечно, совместном с Эммой, потому что теперь я ни за что на свете не оставил бы ее дядюшке: приняв снова вид человека, я вместе с тем обрел способность любить.

Но Эмма не принадлежала к числу тех натур, которых можно похитить против их воли. Согласится ли она бросить Лерна и обещанные им богатства? Конечно нет. Бедная девушка недаром мирилась с той жизнью, на которую ее обрекал в течение стольких лет Лерн; она думала только о будущем великолепии; она была неумной и жадной. Чтобы уговорить ее бежать со мной, надо было убедить ее, что она при этом ни сантима не потеряет... И только Лерн мог убедить ее в этом.

Значит, нужно было во что бы то ни стало добиться согласия профессора.

Конечно, речь могла идти только о насильно вырванном согласии, но я надеялся, что мне удастся запугать его. Я искусно намекнул на убийство Макбелла и Клоца; дядюшка струсит, поговорит с Эммой, и я увезу с собой свою подругу... заранее предвидя, что Николя Вермон лишится наследства, вероятно сильно уменьшившегося, а мадемуазель Бурдише – роскоши, впрочем весьма сомнительной.

Вскоре я разработал план действий во всех деталях.

Глава 14

Смерть и маска

Но привести его в исполнение мне так и не пришлось.

Не потому, что я стал сомневаться. Мое решение было непоколебимо; и если у меня и появилось опасение, что я тем самым подвергаю опасности свою жизнь, то оно возникло у меня лишь тогда, когда все мои замыслы пошли прахом. До этого момента я с нетерпением ждал случая привести свой план в исполнение; должен признаться, я очень настойчиво искал такой возможности и спешил покончить с этим делом, так как чувство страха терзало меня все сильнее.

Моему перепуганному воображению повсюду мерещилась опасность, причем она казалась мне тем коварнее и таинственнее, чем незаметнее она была на первый взгляд. Эмма проводила ночи в моей комнате. Замочные скважины, просветы у дверей, все отверстия, которыми мог воспользоваться опасный соглядатай, были тщательно заделаны мною. Несмотря на то что я должен был бы чувствовать себя здесь в полной безопасности, Эмма жаловалась на мою холодность — до того я был занят одной мыслью. Как-то раз, когда я заставил себя не думать о Лерне, ее странный обморок произошел раньше обыкновенного; теперь я объясняю себе это предшествующим периодом воздержания, но тогда я предположил возможность нового несчастья: не перенес ли Лерн свою душу в Эмму... Ужас и отвращение, охватившие меня при мысли, что я потворствую отвратительным наклонностям старика, обнимая свою подругу, заставили меня окончательно отказаться от любовных утех. Я больше не отваживался смотреть дядюшке в глаза. Я бродил, опустив голову, избегая взгляда всех встречных, даже глаз портретов, которые следуют за вами, когда вы проходите мимо них. Всякий пустяк приводил меня в содрогание. Я пугался всего: белоголовой пичужки, колыхавшейся от дуновения ветерка травки, пения птиц в густой листве деревьев...

Вы сами видите, что нельзя было медлить с отъездом, и я стремился к этому всеми силами души. Но я решил выбрать такой момент для беседы с Лерном, когда он должен был бы согласиться на мое предложение, чтобы прибегнуть к угрозам только в крайнем случае. А момент этот все не приходил. Лерн все еще не мог добиться того успеха, которого жаждал. Неудача изводила его. Его обмороки — или, вернее, его опыты — все учащались и ослабляли его организм. Соответственно портилось и его настроение.

Только наши прогулки помогали восстанавливать его душевное спокойствие, и то не вполне; он еще продолжал мурлыкать свое «рум-фил-дум», останавливаясь каждые десять шагов, чтобы произнести какой-нибудь научный афоризм. Но все же по-прежнему больше всего его восхищал автомобиль.

Стало быть, несмотря на печальный результат, которого я добился в аналогичных обстоятельствах несколькими месяцами ранее, нужно было решиться и поговорить с ним во время автомобильной прогулки на моих «восемьдесят лошадей».

Я бы так и поступил, не случись несчастья.

* * *

Это произошло в Луркском лесу, за три километра до Грея, когда мы возвращались в Фонваль из поездки в Вузье.

Мы полным ходом поднимались в гору. Дядюшка был за рулем. Я повторял про себя то, что собирался сказать, в сотый раз проверял точность формулировок и смысл заранее подготовленных длинных фраз и чувствовал сухость во рту от страха за результат. С самого отъезда

я все откладывал это объяснение в поисках твердого и решительного тона, которым мог бы запугать тирана. У каждой деревушки, у каждого поворота дороги я говорил себе: «Вот где ты заговоришь». Но мы пронесли мимо всех встречных деревень, сделали все повороты, а я все еще не произнес ни одного слова. В моем распоряжении оставалось всего около десяти минут. Ну же, смелее!.. Я решил – начну атаку, когда мы въедем на эту гору. Это последняя отсрочка...

Первая фраза уже вертелась у меня на языке, словно у актера, стоящего за кулисами и ждущего своего выхода на сцену, как вдруг автомобиль резко повернул направо, потом свернул налево и приподнялся на боковых колесах... Мы сейчас опрокинемся... Я схватился за рулевое колесо и пустил в ход все тормоза – ручные и ножные, какие только мог достать... Автомобиль мало-помалу перестал прыгать из стороны в сторону, замедлил ход и остановился как раз вовремя.

Я посмотрел на Лерна.

Он почти выскользнул из своего сиденья, голова свисала на грудь, выражения глаз за очками нельзя было разглядеть, одна рука беспомощно болталась. Обморок! Мы еще счастливо отделались. Но, выходит, все эти обмороки – вплоть до потери сознания – были вполне настоящими. И чего я только не навывдумывал со своими глупыми фантазиями!

А дядюшка между тем все не приходил в себя. Сняв с него автомобильную фуражку с очками, я заметил, что его лицо приобрело восковую бледность; руки, с которых я снял перчатки, имели тот же оттенок. Полный невежда в медицине, я стал похлопывать по ним: я видел, что так делают на сцене, когда хотят привести в чувство упавшую в обморок героиню.

В тиши полей зазвучали аплодисменты. Громкие, погребальные, они приветствовали уход со сцены великого комедианта.

Жизнь и в самом деле покинула тело Фредерика Лерна. Я понял это по холодеющим пальцам, синеющим щекам, потускневшему взгляду, переставшему биться сердцу. Заболевание сердца, в существование которого я раньше отказывался верить, привело его к внезапной, как всегда бывает при этом недуге, смерти.

Удивление, а также и возбуждение от сознания того, что мне удалось спастись от неминуемой гибели, оглушили меня... Итак, в одну секунду от Лерна осталась только пища для червей да имя, которое скоро всеми будет забыто, словом – ничто. Несмотря на мою ненависть к этому зловредному человеку и радость от сознания, что теперь он больше не опасен, быстрота и неожиданность перехода от жизни к смерти, уничтожившей одним дуновением этот чудовищно гениальный мозг, приводили меня в ужас.

Как марионетка, брошенная рукой, которая приводила ее в движение и симулировала в ней жизнь, как картонный паяц, висящий на краю игрушечной сцены, Лерн лежал, откинувшись всем телом; а смерть еще сильнее напудрила его маску умершего Пьеро.

Но в то время как покинувший тело моего дядюшки гений удалялся в неизвестность, лицо его, как мне показалось, хорошело. Мы все привыкли к мысли о том, что душа облагораживает тело, и потому я удивлялся, как преобразило лицо дядюшки отсутствие души. Внимательно всматриваясь в лицо Лерна, я увидел, как это явление прогрессирует. Глубокая тайна озаряла его спокойное чело, точно жизнь на нем была тучей, скрывшей какое-то неизвестное нам солнце. Лицо постепенно приобретало оттенок белого мрамора, и манекен превращался в статую.

Слезы затуманили мой взор. Я снял фуражку. Если бы мой дядюшка погиб пятнадцать лет тому назад, в полном расцвете счастья и мудрости, то и тогда Лерн едва ли выглядел бы в смерти прекраснее.

Но я не мог оставаться дольше на большой дороге наедине с мертвецом. Я без особенного удовольствия обнял его, пересадил налево от себя и крепко привязал багажными ремнями к сиденью. Когда я надел ему на голову фуражку с очками, натянул на руки перчатки, он производил впечатление уснувшего путешественника.

Мы тронулись в путь, сидя бок о бок.

В Грее никто не обратил внимания на напряженную позу моего спутника, и мне удалось спокойно довести его в Фонваль. Меня переполняло благоговение перед гениальностью ученого и жалость к влюбленному старику, который перенес столько страданий. Я забыл о нанесенных мне оскорблениях, сидя рядом с умершим. Я испытывал чувство глубокого уважения и, не знаю, сознаваться ли в этом, непреодолимого отвращения, из-за которого старался отодвинуться от него насколько мог дальше.

* * *

Со времени моей встречи с немцами в лабиринте в то утро, когда я приехал в Фонваль, я ни разу с ними не заговаривал. Я пошел за ними в лабораторию, оставив автомобиль с трупом под присмотром служанки у главного входа в замок.

По моей оживленной жестикуляции помощники тотчас же догадались, что произошло что-то необыкновенное, и пошли за мной. У них было выражение лиц субъектов, знающих за собой что-то скверное и предвидящих возможность несчастья во всякой неожиданности. Когда трое сообщников поняли, что произошло, они не могли скрыть ни своего разочарования, ни своего ужаса. Они завели громкий оживленный разговор. Иоганн говорил высокомерным тоном, двое других – рабски-почтительным. Я спокойно ждал, когда им будет угодно обратиться ко мне.

Наконец они кончили и помогли мне внести профессора в его комнату и уложить на кровать. Эмма, увидев нас, убежала с громким криком. Так как немцы, не сказав ни слова, ушли, мы с Барб остались одни у трупа. Толстая горничная пролила несколько слез; я думаю, что она сделала это не столько из огорчения по поводу смерти ее хозяина, сколько из присущего всем людям чувства уважения к смерти. Она смотрела на него с высоты своей тучной фигуры. Лерн менялся на глазах: нос заострился, ногти посинели.

Долгое молчание.

– Нужно бы привести его в порядок, – промолвил я вдруг.

– Предоставьте это мне, – ответила Барб. – Занятие не из веселых, но мне это дело знакомо.

Я повернулся спиной, чтобы не смотреть, как совершают туалет мертвеца. Барб была в этом отношении похожа на всех деревенских кумушек: при случае могла и принять роды, и обрядить мертвеца. Вскоре она заявила:

– Готово – сделано на совесть! Все на месте, за исключением святой воды и орденов, которые я никак не могу найти.

Лерн лежал на своей белоснежной кровати, до того бледный, что казалось, точно это был надгробный памятник, причем ложе и лежавшее на нем изображение были точно высечены из одного куска мрамора. Дядюшка был тщательно причесан, одет в белую рубашку с оборками и белый галстук. В пальцы бледных, лежащих крест-накрест рук были вложены четки. На груди помещался крест. Колени и ноги выделялись под простыней, как две острые белоснежные гряды... На столе стояла тарелка без воды, с лежащей в ней веткой сухого дерева, а сзади горели две свечи; Барб устроила из стола нечто вроде маленького алтаря, и я упрекнул ее в непоследовательности. Она возразила, что таков был обычай у них, и, уклонившись от спора, закрыла портьеры. На лицо мертвеца легли мрачные тени – предвестницы тех морщин, которые вырубят на нем всемогущая смерть.

– Откройте окно настежь, – сказал я. – Пусть комнату заполняют солнце, пение птиц и аромат цветов.

Служанка повиновалась, ворча, что «это противоречит обычаю», затем, получив кое-какие распоряжения, по моей просьбе удалилась.

* * *

Из парка доносился запах осенних листьев. Он бесконечно грустен: вдыхать его – все равно что слушать похоронный марш. Каркая, пронеслись вороны, полет которых напоминал поспешное бегство с какого-нибудь собора. На смену дню приходили вечерние сумерки.

Чтобы не смотреть на кровать, я принялся оглядывать комнату. Над секретером улыбался пастельный портрет тетушки Лидивины. Совершенно напрасно художники пишут свои модели улыбающимися, ведь портретам часто приходится присутствовать при таких вещах, когда вовсе не до смеха; например, портрету тетушки довелось лицезреть связь своего супруга с какой-то женщиной, а теперь улыбаться его трупу... Портрет был сделан лет двадцать тому назад, но благодаря нежным тонам выглядел как старинный. Краски постепенно выцветали, и он казался все старше, так что значительно удалял в глубь времен мою тетю и мою молодость. Он мне разонравился.

Я постарался сосредоточиться на чем-нибудь другом: наступлении сумерек, появлении первых летучих мышей, расставленных по всей комнате безделушках, свечах, которые, к сожалению, плохо освещали помещение, отбрасывая пляшущие отблески.

Поднявшийся вдруг ветер на несколько мгновений отвлек мое внимание; он завывал в густой листве деревьев, и мне в его разрывающем ночь вое слышался полет Времени. Сильным порывом ветра задуло одну свечу, пламя другой заколебалось, и я поспешил закрыть окно: меня совсем не привлекала мысль остаться в темноте.

Внезапно я оставил попытки обмануть себя и понял, что чувствую настоятельную потребность смотреть на покойника, убедиться в том, что он больше никак не сможет навредить мне.

Тогда я зажег лампу и поставил ее так, чтобы она ярко осветила Лерна.

Право же, он был красив. Очень красив. Не оставалось никакого следа от свирепого выражения лица, которое я встретил после пятнадцатилетнего отсутствия, никакого... разве только ироническая улыбка, змеившаяся на устах. Не было ли у покойного дядюшки какой-нибудь задней мысли? Казалось, что, несмотря на свою смерть, он все продолжает бросать вызов природе, он, который при жизни позволил себе исправлять ее творчество...

И я вспомнил о его безумно смелых и преступно дерзких опытах. Они с одинаковым успехом могли довести его и до плахи, и до пьедестала и могли принести ему славу, равно как и каторгу. В былые времена я знал, что он достоин восхищения, и готов был поклясться, что он никогда не заслужит порицания. Что же за таинственное событие произошло в его жизни пять лет тому назад и превратило его в злобного хозяина, занимавшегося убийством своих гостей?..

Вот над чем я задумался. А вой ветра в печке казался жалобами теней Клоца и Макбелла, которые претерпели ужасные муки. Порыв ветра превратился в бурю и свистел за окнами; пламя свечей заколебалось; заколыхалась слегка и вновь легла спокойными складками легкая портьера; на голове Лерна зашевелились его редкие, легкие белые волосы. Проникший сквозь плохо закрытые окна порыв ветра взметнул портьеру, разметал волосы дядюшки во все стороны...

И в то время, как невидимая рука играла его волосами, я, остолбенев от ужаса, стоял, наклонившись над головой Лерна, и не мог отвести глаз от то появлявшегося, то исчезающего под прядями серебристых волос сине-багрового рубца, который шел от одного виска к другому.

Ужасный признак цирцейской операции! Выходит, она была проведена и над дядюшкой. Но кем?

Отто Клоцем, черт подери!

Тайна была раскрыта. Последнее окутывавшее ее покрывало-саван разорвалось. Все объяснилось. Все: внезапная перемена, происшедшая с дядюшкой, совпадала с исчезновением его главного помощника, с путешествием Макбелла; наконец, с пропажей самого Лерна. Все:

отвратительные письма, изменившийся почерк, то, что он меня не узнал, немецкий акцент, отсутствие воспоминаний; затем вспыльчивый характер Клоца, его смелость, граничащая с безумием, страсть к Эмме, достойные всяческого порицания работы, преступные опыты над Макбеллом и надо мной. Всё! Всё! Всё!

Припомнив рассказ любовницы, я смог восстановить всю историю этого невообразимого преступления.

За четыре года до моего теперешнего приезда в Фонваль Лерн и Отто Клоц возвращались из Нантеля, где они провели целый день. Лерн был, вероятно, в прекрасном настроении. Он возвращался к своим любимым пересадкам, цель которых, единственная цель – принести пользу человечеству. Но влюбленный в Эмму Клоц хочет направить поиски в другую сторону; не задумываясь над вопросом о профанации и заботясь только о прибыли, он мечтает о трансплантации мозга. Весьма вероятно даже, что он предложил дядюшке этот план, который не мог привести в исполнение в Мангейме из-за отсутствия денег, но безрезультатно. Однако у помощника зародился коварный план. С помощью своих трех соотечественников, предупрежденных заблаговременно и укрывшихся в чаще леса, он нападает на профессора, связывает его и запирает в лаборатории – человека, богатствами и независимым положением которого он хочет завладеть. Иными словами, Клоцу нужен облик Лерна.

И все же он хочет в последний раз в жизни использовать ту свою физическую силу, которой вот-вот лишится, и проводит ночь с Эммой.

Ранним утром он возвращается в лабораторию, в которой помощники не спускают глаз с Лерна. Его три сообщника делают обоим наркоз и переносят мозг Клоца в мозговую коробку Лерна. Что же касается мозга Лерна, то его кое-как запихивают в череп Клоца, который теперь превратился в труп, и наскоро закапывают все эти анатомические останки.

И вот наконец цель достигнута: под маской, костюмом и внешностью Лерна Отто Клоц является полновластным хозяином Фонваля, Эммы, хода работ – словом, всего. Разбойник, облачившийся в рясу убитого им отшельника.

Эмма видит, как он выходит из лаборатории. Бледный, нетвердой походкой Лерн возвращается в замок, изменяет весь строй жизни и устраивает лабиринт перед въездом. Затем, уверенный в своей безнаказанности, начинает производить ужасные опыты в своей недостижимой берлоге.

К счастью, эти опыты оказались бесполезными. Тот, кто умудрился украсть чужую внешность, умер слишком рано, не успев воспользоваться награбленным, сам сделавшись жертвой, поскольку болезнь сердца, послужившая причиной смерти Клоца, развилась в теле Лерна. Так грабителя, пробравшегося в чей-то дом, наказывает судьба, когда на него обрушивается крыша.

Теперь я понимал, почему эта физиономия снова сделалась похожей на лицо моего дядюшки! За этим лбом больше не скрывался мозг немца, придававший лицу столь отталкивающее выражение.

Это не Лерн убил Клоца, а Клоц – Лерна! Я не мог прийти в себя от изумления. Вот тайна, которую эта двойственная личность забыла мне открыть... И, сердясь на самого себя за то, что я в течение такого долгого времени не раскусил его, я уговаривал себя, что, наверное, заметил бы этот обман, если бы мы жили с ним вдвоем, но что общество людей доверчивых, как Эмма, или его немецких сообщников отражалось на моем отношении к нему и заставляло меня разделить их ошибку или умышленную ложь.

«Ах, тетушка Лидивина, – думал я. – Вы вполне правы, что улыбаетесь вашими нарисованными пастелью губами. Ваш Фредерик погиб в ужасной западне пять лет тому назад, и душа, покинувшая только что это тело, не имеет с ним ничего общего. Теперь в нем не осталось ничего чужого, если не считать мозговых полушарий, но и те в данный момент не имеют никакого значения. Стало быть, мы действительно находимся у тела вашего превосходного мужа, так как тот, другой, умер и этим заплатил свой долг».

При этой мысли я разрыдался от всего сердца, сидя напротив этого поразительного покойника. Но сардоническая ухмылка, оставленная на устах, словно какая-нибудь печать, отлетевшей душой мерзавца, сильно меня раздражала. Я стер ее кончиком пальца, изменив положение уже затвердевших, едва податливых губ по своему вкусу.

Когда я отошел на пару шагов, чтобы составить более верное представление о своей «работе», кто-то тихо постучал в дверь.

– Это я, Николая, – я, Эмма!

Бедная, наивная девушка! Сказать ли ей правду? Но как она отнесется к столь невероятной проделке Судьбы? Я хорошо ее знал. Над ней так часто смеялись, что она просто не поверит, да еще и упрекнет меня, скажет, что я пытаюсь ее мистифицировать. Я промолчал.

– Отдохни, – прошептала она. – Барб сменит тебя.

– Нет-нет, спасибо. Оставь меня.

Мне нужно было продолжить это бдение у тела дядюшки. Я приписал ему слишком много постыдных поступков и теперь хотел вымолить прощение у него и у моей тетушки.

Вот почему, несмотря на разыгравшуюся бурю, мы проговорили всю ночь: покойник, написанный пастелью портрет и я.

* * *

На заре Барб явилась сменить меня, и я вышел на предутренний воздух, холод которого действует столь бодряще на тех, кто разгорячен бессонной ночью.

В осеннем парке пахло как на кладбище. Сильный ветер, бушевавший всю ночь, сорвал с деревьев листву, и моя нога утопала в шуршащей подстилке; на скелетах деревьев не осталось листьев за редкими исключениями, да и то нельзя было сказать с уверенностью, листья это или воробы. За несколько часов парк приготовился к зиме. Во что превращалась великолепная оранжерея во время морозов?.. Может быть, мне удастся пробраться в нее, пользуясь суматохой, возникшей у немцев из-за этой неожиданной смерти. Я направился в ту сторону. Но то, что я увидел издали, заставило меня ускорить шаги. Дверь оранжереи была открыта, и из нее валил едкий черный дым, пробивавшийся также и из окон.

Я вошел внутрь.

Средний зал, аквариум и третья комната представляли картину полного разрушения. Там все разбили, подожгли. Посередине всех трех помещений были нагромождены груды хлама; там лежали в чудовищном беспорядке разбитые горшки, сломанные растения, куски хрусталя, ветви кораллов, истерзанные цветы, околевшие животные: короче говоря, три отвратительные мусорные кучи, в которых была заключена вся удивительная, приятная, трогательная или отталкивающая жизнь этого тройного дворца. В одном углу догорали еще тряпки, в другом, в куче пепла, корчились полуобгоревшие ветки самых компрометирующих растений. От обугленных костей шел смрад. Не подлежало никакому сомнению, что этот разгром устроили помощники, чтобы уничтожить следы своих занятий и опытов, и я не слышал ничего из-за разразившейся бури. Но они, должно быть, не остановились на полдороге...

Чтобы убедиться в этом, я отправился на кладбище, на лужайку. Там, в открытой яме, лежали лишь кости и скелеты некоторых животных, по большей части без голов. Клоца среди них теперь не было. Нелли тоже.

Но разгром лаборатории был абсолютно полным. Он указывал на врожденную способность к разрушению людского рода в целом, и в особенности некоторых народностей. Я без помех прошел по всем помещениям, так как окна и двери были открыты настежь. Во дворе остались только живые животные, не подвергнувшиеся никаким опытам; остальных я обнаружил немного позже. Тут все осталось как прежде. Но операционные залы, наоборот, были разгромлены: там царил неопишуемый хаос из разбитых склянок, смешавшаяся жидкость которых

образовала на полу целое фармацевтическое озеро. Изорванные в клочки книги, заметки и тетради валялись вперемешку с исковерканными инструментами и аппаратами. Наконец, большая часть хирургических инструментов исчезла. Негодяи удрали, унося с собой секрет цирцейской операции и изобретенные для нее приспособления. Действительно, войдя в их павильон, я нашел там всю мебель перевернутой, комоды и шкафы опустошенными и понял, что три сообщника сбежали.

Выходя из разграбленного дома, я заметил голубоватый дымок, поднимавшийся сзади левого крыла постройки. Он поднимался над кучей наполовину обуглившихся остатков, ужасный, отвратительный запах которых вызывал тошноту. Все же я подошел к ней и увидел, как что-то зашевелившись, отделилось от этой отвратительно пахнувшей кучи: это оказалась хромая, наполовину изжарившаяся крыса, которая, сойдя с ума, бросилась мне в ноги. Через круглое отверстие в ее черепе был виден кровоточащий мозг.

Охваченный отвращением и жалостью, я ударом каблука прикончил последнюю жертву этих чудовищ.

Глава 15

Новый зверь

Под влиянием вполне естественной при таких обстоятельствах апатии окружной врач ничего не проверил, ничего не осмотрел. Я рассказал ему об обмороках покойного дядюшки, о его собственной убежденности в том, что у него порок сердца, и врач выдал мне свидетельство о смерти и разрешение на похороны.

– Доктор Лерн, без сомнения, мертв, – сказал он, – и наша сегодняшняя миссия заключается, если позволите, лишь в удостоверении этого факта. Что касается прочего, то у нас нет права заниматься исследованием причин, которые могли бы привести нас к спорам со столь выдающимся ученым и утверждению, что он умер иначе, нежели сам то определил.

Лерна похоронили в Грей-л'Аббее без всякой торжественности.

* * *

После этого мне пришлось употребить десять дней на то, чтобы разобраться в делах этой непостижимой двойственности, никогда не встречавшейся до сих пор амальгамы из убийцы и его жертвы: Клоца-Лерна.

В течение своего феноменального существования, приблизительно около четырех с половиной лет, он не составил никакого завещания. Это явилось для меня доказательством, что вопреки его мрачным предсказаниям смерть настигла его неожиданно для него самого; потому что в противном случае не подлежало никакому сомнению, что он сделал бы все возможное и невозможное, чтобы лишить меня наследства. Но в бюро, в уголке, я нашел то завещание дядюшки, о котором он мне писал. Он назначал меня своим единственным наследником.

Но Клоц-Лерн заложил и перезаложил имение и, кроме того, наделал массу долгов. Моей первой мыслью было затеять процесс; но тут же меня поразила абсурдность его, и я понял, какая кутерьма поднимется среди юристов при известии о такой подмене личностей, о таком не учтенном законодательством подлоге, об этом противоестественном и преступном захвате наследства, об этом закладе чужого имущества под видом своего. Приходилось смириться со всеми последствиями этого феноменального мошенничества и молчать обо всем происшедшем из боязни самых скверных инсинуаций.

Впрочем, если подсчитать все точно, то вступить в наследство было мне выгодно, тем более что я заранее решил избавиться от Фонваля, полагая, что он станет для меня средоточием скверных воспоминаний. Я внимательно просмотрел все бумаги. Заметки настоящего Лерна подтверждали в каждой строчке добропорядочность ученого и чистоту его опытов. Записки Клоца-Лерна, которые легко можно было отличить по переменившемуся почерку, а также по тому, что в них попадались немецкие слова, были частью украдены, частью сожжены, как неопровержимое доказательство некоторых преступлений, от соучастия в которых никак не мог бы откеститься некий господин Николя Вермон, проведенный в Фонвале последние шесть месяцев. По тем же причинам я перерыл парк и обыскал пристройки.

Покончив с этим, я раздал животных жителям деревни и рассчитал Барб.

Потом с помощью нанятых работников я набил громадные ящики фамильными реликвиями, в то время как Эмма, не зная, какому чувству отдаться – то ли горю из-за утраченной химеры, то ли радости от того, что мы с ней едем в Париж, – занималась упаковкой собственных вещей.

Сразу после смерти Клоца-Лерна, торопясь вернуться в шумный свет и к привычному комфорту, не теряя ни минуты времени на устройство квартиры, я написал одному из своих

друзей, прося его найти и нанять для меня дом, который был бы шикарнее моей холостяцкой квартиры и мог бы служить гнездышком для пары влюбленных. Его ответ обрадовал нас. Он нашел пристанище на проспекте Виктора Гюго: это был маленький особняк, выстроенный словно по нашему заказу и обставленный по нашему вкусу. Он даже позаботился о прислуге, которая была уже на месте и ждала нашего приезда.

* * *

Все было готово. Я отправил багажом огромные ящики и сундуки Эммы. Как-то утром у меня состоялась последняя встреча с грейским нотариусом, мэтром Паллю, относительно продажи имения. Эмма не могла больше усидеть на месте, и мы решили вечером того же дня уехать на автомобиле в Париж, намереваясь переночевать в Нантеле, чтобы приехать в столицу днем.

Наконец для меня наступил час проститься с Фонвалем навеки.

Я еще раз обошел пустой дом и облетевший парк. Казалось, осень обнажила и тот и другой.

В покинутых комнатах сохранился еще старый аромат, полный воспоминаний и меланхолии. Ах, сколько очарования кроется иногда в затхлых, запущенных комнатах!.. На выпцветших обоях видны были прямоугольники и овалы, оставшиеся от висевших на них картин и зеркал, от стоявших у них шифоньерок и сундуков; тени предметов, каким-то волшебством завешанные стене, с которой они сроднились, яркие пятна, которые тоже потускнеют в свою очередь, как тускнеет воспоминание об ушедших. Некоторые комнаты из-за пустоты казались меньше, чем прежде, некоторые – больше. Я обошел дом сверху донизу; осмотрел чердаки и подвалы. И я не мог оторваться от этих мест, так живо воскресивших во мне юность; я бродил по ним, как живая тень в царстве привидений... Ах, моя юность! Я чувствовал, что только она и осталась в Фонвале. Пережитые недавно драмы, несмотря на их ужас, бледнели перед воспоминаниями детства; комнаты Эммы и Донифана оставались в моей памяти только комнатами тетушки и моей... Прав ли я был, что продавал Фонваль с молотка?..

Эта мысль преследовала меня во время моей прогулки по парку. Поле снова казалось мне лужком, а павильон, в котором жил Минотавр, напомнил мне только Бриарея. Я обошел парк вдоль вздымавшихся вокруг поместья гор. Небо так низко нависло, что казалось потолком из серой ваты, опиравшемся на окрестные вершины. При этом интимном зимнем освещении статуи, лишенные своего зеленого покрова, являли глазам источенный временем и дождями бетон своих пьедесталов. Все они были покалечены, одни с отбитыми курносими носами, другие с обломанными подбородками. У одной от вытянутой в изящном жесте руки, в которой она должна была держать амфору, остался только металлический стержень... Они будут продолжать свое существование в одиночестве... На крыше павильона ястреб точил свой клюв о стержень флюгарки. По пастбищу не торопясь, мелкими шажками пробежала куница...

Я не находил в себе достаточно сил, чтобы уехать: я снова вошел в замок, потом вернулся в парк. Я растроганно прислушивался к звуку своих шагов, звонкому на паркете опустевших комнат и шуршащему в густой листве, покрывавшей толстым слоем землю парка. С каждой минутой тишина делалась все глубже. Мне казалось, что я испытываю чисто физическое затруднение, нарушая ее. Чувствовалось, что скоро она воцарится здесь полновластной хозяйкой, и, когда я остановился посреди лужайки, она попробовала испытать на мне свои чары.

Там, в центре вихря проносившихся видений, я долго мечтал. На мой молчаливый призыв явились и закружились вокруг меня в дьявольском хороводе герои далекого прошлого и недавних происшествий, одни фантастические, другие настоящие – явления из мира сказок и из реальной жизни; они носились вокруг меня в каком-то бешеном круговороте и превращали лужайку в калейдоскоп воспоминаний, в котором вертелось все мое прошлое.

Но нужно было уезжать, оставляя Фонваль в полной власти пауков и плюща.

Безвкусно вырядившаяся Эмма нетерпеливо прохаживалась перед сараем, уже готовая к отъезду. Я открыл двери. Автомобиль стоял вкось, в самой глубине. Я не видел его со дня случившегося с Лерном несчастья и даже не помнил, чтобы загонял его внутрь. Наверное, решил я, его поставили в сарай помощники – из несколько запоздалой любезности.

Несмотря на мою небрежность, мотор захрапел, как только я пустил в ход электричество. Тогда я выехал на полукруглую аллею, находящуюся у въезда в Фонваль, и закрыл за собой скрипучие ворота, символ стольких тяжелых воспоминаний. Ну слава богу, кончена ужасная история с Клоцем. Но пришел конец и воспоминаниям моей юности... Я вообразил, что, сохрани я Фонваль за собой, и воспоминания юности не исчезнут...

– По дороге заскочим в Грей, к нотариусу, – сказал я Эмме. – Продавать замок не буду – лишь поручу сдать его в наем.

Мы выехали. Я выбрал прямой путь. Горы по бокам становились все ниже. Эмма о чем-то болтала.

Сначала автомобиль шел плавно, с радостным урчанием, однако затем я пожалел, что в последнее время не заботился о нем должным образом. Он то замедлял ход, то внезапно бросался вперед, так что вскоре мы стали продвигаться какими-то резкими рывками.

Я уже говорил, что мой автомобиль являлся триумфом автоматизма: на нем было самое минимальное количество педалей и ручек. Но этот же автоматизм представлял и серьезное неудобство: машина перед поездкой должна была быть тщательно отрегулирована, потому что на ходу исправить что-либо не представлялось возможным, шофер мог только увеличить или уменьшить скорость.

Перспектива продолжительной остановки мне совсем не улыбалась.

А машина продолжала свой скачкообразный ход, и я не мог удержаться от смеха. Этот способ передвижения напомнил мне манеру прогуливаться Клоца-Лерна, с которым я гулял по этой же дороге, то капризно-медлительную, то, наоборот, стремительную, словно курьерский поезд. Надеюсь, что неполадка исправима, я мирился с капризами автомобиля и старался по звуку работающего мотора определить, какая из его частей не в порядке. Я склонен был приписать внезапные замедления хода, часто доходившие до того, что мы в течение целой секунды не двигались с места, избытку масла. Столь нелепое сравнение меня страшно смешило, и я не смог удержаться от того, чтобы не сказать себе: «Совсем как этот негодяй-профессор! Занятно!»

– Что-то не так? – спросила Эмма. – У тебя какой-то встревоженный вид.

– Разве? Вот еще! Скажешь тоже!..

Странное дело, но этот ее вопрос меня даже расстроил: я-то был убежден, что у меня, напротив, совершенно спокойное выражение лица. Да и какая у меня могла быть причина для тревоги? Мне просто было неприятно; я, конечно, интересовался, какой из органов этого «большого зверя», как его называл профессор, был не в порядке, и, не находя никакого объяснения, я уже собирался остановиться, я... ну, словом, мне было очень неприятно, вот и все! Напрасно я прислушивался своими, все же как-никак опытными ушами к звукам приглушенных хлопков, дребезжанию, глухим ударам: я не слышал ни одного характерного для порчи предохранительных клапанов или шатунов звука.

– Держу пари, это сцепление пробуксовывает, – воскликнул я. – Двигатель-то в полном порядке.

И тут Эмма сказала:

– Николя, взгляни-ка! Разве эта штуковина должна двигаться?

– Ну вот! Так я и знал!

Она показала на педаль сцепления, которая двигалась совершенно самостоятельно, соответственно прыжкам машины. Вот в чем повреждение!.. Пока я внимательно смотрел на педаль, она низко опустилась, и заторможенный автомобиль остановился. Только что я соби-

рался слезть с него, как он резким движением пошел дальше. Педаль заняла свое прежнее положение.

Меня уже терзало некоторое беспокойство. Конечно, ничто не раздражает так, как вышедшая из строя машина, но я все же не помнил, чтобы ее поломка хоть когда-то приводила меня в столь дурное настроение.

Вдруг сам собой загудел клаксон.

Я ощутил непреодолимое желание сказать что-нибудь: молчание удваивало мой ужас.

– Машина вконец испортилась, – заявил я, стараясь говорить непринужденным тоном. – Раньше поздней ночи мы не доедем, моя бедная Эмма.

– Не лучше ли попытаться сейчас же ее починить?

– Нет! Предпочитаю ехать дальше. Если остановиться, как знать, сможем ли снова тронуться с места? Починить ее всегда успеем. Может, она и сама как-нибудь придет в порядок.

Но клаксон заглушил мой слабый, колеблющийся голос жутким ревом. И от ужаса мои пальцы впились в рулевое колесо, потому что гудок вдруг понизился, превратился в долгую певучую ноту, которая делалась все ритмичнее, меняла тон... и я чувствовал, что она сейчас перейдет в этот мотив... знакомый мне мотив марша... (А может быть, в конце концов, я сам вызвал его – этот мотив – в своей памяти...) Мотив делался все более похожим, и после некоторого колебания, свойственного всякому певцу, пробующему свой голос, автомобиль затянул его своим медным горлом.

Это был тот самый рефрен: «Рум-фил-дум».

При звуках этой немецкой песни в мою душу закрались подозрения. При мысли о том, что это новая фантастическая, таинственная, чудовищная выходка Клоца, меня охватил ужас. Я хотел прекратить подачу бензина – ручка не поддавалась моим усилиям; пустить в ход ножной тормоз – он сопротивлялся; ручной тормоз точно так же отказывался служить. Какая-то не поддающаяся никаким усилиям воля держала их в своем подчинении. Я бросил руль и схватился обеими руками за дьявольский тормоз – с таким же успехом. Только клаксон как-то иронически завыл и умолк, посмеявшись надо мной.

Расхохотавшись, моя спутница воскликнула:

– До чего же занятная труба!

Мне же было совсем не до смеха. Мысли неслись, будто в водовороте, и рассудок отказывался верить моим же собственным умозаключениям.

Разве этот металлический автомобиль, при постройке которого не было употреблено ни кусочка дерева, резины и кожи, ни одна частица которого никогда не была частью живого существа, не был «организованным телом, которое до этого никогда не жило»? Разве этот автоматический механизм не был снабжен рефлексам, но совершенно лишен разума? Разве, в конце концов, он не был единственным телом, согласно теории записной книжки, которое может вместить душу целиком без остатка? То самое вместилище, которое профессор, не подумав как следует, объявил несуществующим?

В момент своей кажущейся смерти Клоц-Лерн, вероятно, производил над автомобилем опыт, аналогичный тому, который он произвел над тополем; но в своей развившейся за последние недели рассеянности он не предвидел, что его душа перейдет целиком в это пустое помещение и что, как только душевный отросток будет уничтожен, его человеческая оболочка превратится в труп, возвратиться в который ему помешают законы его же открытия...

Или же, может быть, отчаявшись заполучить те богатства, к которым он тщетно стремился, Клоц-Лерн сделал это по доброй воле, совершив нечто вроде самоубийства, обменяв внешность моего дядюшки на оболочку машины?..

А почему бы ему не захотеть сделаться этим новым зверем, появление которого он предсказывал в такой эксцентрической форме: животным будущего, царем природы, которого

постоянный обмен органов должен был сделать бессмертным – согласно его фантастическому предсказанию?

Повторяю еще раз, что, как ни доказательны были мои рассуждения, я все же не хотел допустить их правдивость. Сходство между беспорядочным ходом автомобиля и походкой профессора, возможная слуховая галлюцинация и вполне допустимая порча тормоза не могли служить достаточным доказательством такой грандиозной ненормальности. Мой ужас требовал более убедительного доказательства.

Я получил его незамедлительно.

Мы подъезжали к опушке леса, к той черте, за пределы которой покойный безумец неизменно отказывался выходить во время наших прогулок. Я понял, что вот-вот все станет понятно, и на всякий случай предупредил Эмму:

– Держись крепче; отклонись назад!

Несмотря на принятые меры предосторожности, от внезапной остановки автомобиля нас резко бросило вперед.

– Что это было? – пробормотала Эмма.

– Ничего! Сиди спокойно.

По правде сказать, я пребывал в замешательстве. Что делать? Выйти было бы опасно. На спине Клоца-автомобиля мы были хоть гарантированы от его нападений, а я вовсе не собирался вступать в открытую борьбу с машиной... Я попытался заставить его двинуться вперед. Точно так же, как несколько минут тому назад, ни одна ручка, ни один винтик не повиновались мне. Сколько я ни старался, как я ни напирал изо всех сил, сопротивление не ослабевало...

Мы довольно долго пробыли в этом неприятном положении, как вдруг совершенно неожиданно и помимо моей воли рулевое колесо стало поворачиваться, колеса задвигались и автомобиль, описав полукруг, направился по дороге обратно в Фонваль. Мне удалось потихоньку повернуть его в обратную сторону; но как только он сообразил, что едет не в Фонваль, он снова остановился и отказывался сдвинуться с места.

Эмма наконец заметила, что происходит что-то необычное, и стала настойчиво просить меня выйти, чтобы исправить «поломку».

Но спустя несколько мгновений мой страх сменился бешенством.

Клаксон закудахтал.

– Хорошо смеется тот, кто смеется последним, – пробурчал я.

– Да что же это? В чем дело? – повторяла моя спутница.

Не слушая ее, я достал из сетки стальной прут, служивший мне для защиты от нападения, и, к глубочайшему изумлению Эммы, ударил им по норовистой машине.

И тут произошло нечто эпическое. Под градом ударов тяжелый автомобиль начал метаться во все стороны, словно недовольный конь: он прыгал, подсакивал, пробовал становиться на дыбы – словом, делал все возможное, чтобы выбросить нас из сидений.

– Держись крепче! – прокричал я Эмме.

И принялся бить еще сильнее. Двигатель ворчал, клаксон жалобно стонал от боли или рычал от злости; а я продолжал лупить изо всех сил по крышке мотора; в лесу раздавалось громкое эхо от мощных ударов стали о железо.

Вдруг, испустив трубный крик слона, металлический мастодонт несколько раз судорожно дернулся и устремился вперед с невероятной скоростью – он понес.

Я больше не был хозяином положения. Наша судьба всецело зависела от неистовствующего, обезумевшего монстра. Мы почти летели. Машина мощностью восемьдесят лошадиных сил мчалась вперед со скоростью падающего тела; стало трудно дышать. Порой сирена издавала пронзительный рев. Через Грей-л'Аббей мы пронеслись с быстротой молнии. Под колеса попадали курицы, собаки – мои очки были забрызганы кровью. Мы ехали так быстро, что медная вывеска нотариуса Паллю показалась мне золотистой полоской. Выехав из деревни, мы оказа-

лись на национальном шоссе, окаймленном с обеих сторон платанами; потом быстроту нашего бега умерил долгий подъем в гору. Затем, впервые проявив признаки усталости, машина сбавила обороты, и мне наконец удалось направить ее туда, куда я хотел.

* * *

Мне пришлось часто хлестать его, чтобы он довез нас до Нантеля, куда мы приехали довольно поздно, но без дальнейших приключений. При переезде через рельсы я услышал, как клаксон издал жалобный стон, и я увидел, что от толчка повредились рессоры правого переднего колеса. Приехав в гостиницу, я хотел заменить испорченную рессору новой, но мне это не удалось: мои попытки вызывали такой рев клаксона, что я вынужден был отказаться от починки. Впрочем, в ней не было спешной необходимости, так как я решил ехать дальше по железной дороге, а строптивую машину отправить багажом. Я предоставлял будущему решить ее судьбу. А пока я поставил ее в гараж, где она заняла место между фаэтонами, лимузинами и другими автомобилями. Я поторопился уйти, чувствуя, как за моей спиной горят фальшивым и враждебным огнем круглые глаза фар.

Продолжая безостановочно размышлять об этом невероятном приключении, я, возвращаясь домой, вспомнил фразу из научной статьи, которую когда-то читал. И я немало был изумлен тем, что нашел в этих словах смутный намек на объяснение того, что со мной произошло, и как бы предсказание возможности таких чудес:

«Можно представить себе, что существует такое же промежуточное звено между живыми существами и неодушевленными предметами, какое нами найдено между животным и растительным мирами».

* * *

Гостиница располагала всеми современными удобствами. Поднявшись на лифте, я прошел в отведенный нам номер.

Моя спутница была уже там. Проведя столько времени взаперти, она с жадностью смотрела на улицу, надвигающуюся толпу и на магазины, блиставшие огнями своих роскошных витрин. Эмма не могла оторваться от зрелища кипучей жизни; продолжая одеваться, она каждую минуту подходила к окнам и раздвигала закрытые портьеры, чтобы снова взглянуть на оживление, царившее на улице. Мне показалось, что она стала менее любезной со мной и что внешний мир интересовал ее больше моей персоны. Мое странное поведение во время нашей поездки на автомобиле, наверное, изумило ее, и, так как я твердо решил не давать ей никаких объяснений, я не сомневался, что она сочла меня оригиналом, не совсем вылечившимся от своего временного сумасшествия.

За обедом, сервированным за отдельными столиками, при уютном свете электрических лампочек, делавшем столовую похожей на будуар, в обществе одетых во фрак мужчины и декольтированных женщин, Эмма проявила совершенно неуместную в этой обстановке развязность. Она пристально смотрела на одних, мерила с ног до головы ироническим взглядом других, то восторгаясь, то издеваясь, выражая вслух одобрение или громко смеясь, и служила поводом для насмешек или восторгов, то смешная до неприличия, то восхитительная донельзя...

Я увел ее так скоро, как только смог, но ее желание вернуться в свет было столь горячим, что нам пришлось немедленно отправиться в какое-нибудь людное место.

Театр был закрыт, работало лишь казино, в котором как раз в тот вечер проходили финальные поединки чемпионата по борьбе, организованного в подражание Парижу.

Маленький зал был битком набит приказчиками из модных магазинов, студентами и всяким хулиганьем. В воздухе плавало облако, представлявшее собой смесь всех видов дешевого табака, столь любимого представителями пролетариата и беднейшим средним классом.

Эмма важно восседала в своей ложе. Вульгарный фрагмент регтайма, исполненный бесстыдным оркестром, привел ее в восхищение, а так как она не привыкла сдерживать свои экстазы, то на нее уставились триста пар глаз, привлеченных взмахами веера и покачиванием перьев на шляпе, которые не менее дерзко отбивали такт. Улыбнувшись, Эмма прошлась взглядом по всем этим тремстам зрителям.

Борьба привела ее в восторг, особенно – борцы. Эти человекоподобные зверюги, чьи головы – с огромными челюстями и скошенным лбом, – казалось, были предназначены для гильотины, пробуждали в моей подруге самые низменные и неистовые инстинкты.

Победил волосатый, татуированный колосс. Он вышел на аплодисменты и, чтобы изобразить поклон, неуклюже склонил свою маленькую головку мирмидонца, на которой были едва видны узкие свиные глазки. Этот был уроженцем Нантеля, и сограждане устроили ему овацию. Как победителю, ему присвоили титул «Бастион Нантеля и чемпион Арденн».

Эмма, поднявшись во весь рост, хлопала в ладоши и кричала «браво» так громко и с такой настойчивостью, что вызвала смех всего зала. Чемпион послал ей воздушный поцелуй. Я почувствовал, как лицо мне залила краска стыда.

Мы вернулись в гостиницу, обмениваясь едкими репликами, предвещавшими целомудренную ночь.

Ночь выдалась целомудренной, но беспокойной. Наш номер располагался прямо над входной аркой, где сновали туда и сюда автомобили, так что во сне меня преследовали несчастья и всякая чушь.

Проснувшись, я испытал настоящее горе, ибо обнаружил, что нахожусь в постели один.

Ошеломленный, я попытался объяснить отсутствие Эммы вполне понятными обстоятельствами естественного свойства, но ее место на кровати было остывшим, и это меня немало смутило.

Я позвонил гарсону. Явившись на вызов, он вручил мне послание. Этот исписанный вкось и вкривь листок, испещренный кляксами и капельками чернил, я сохранил и впоследствии прищиплил булавкой над своим письменным столом. Вот что содержалось в этой записке:

Дорогой Николя,

прости за причиняемую боль, но нам лутше растатся. Вчира я встретила моего перваво любовнека, муцину, за которого подралась с леони, Альсида. Это тот красавец, который вчира победил. Я вазвращаюсь к ему, потому что он в моей крови. Решительна, я бросила его лиш ради грамадных денег, которые обещал Лерн. Потом я сделала бы тебе нещастным, потом я сделала бы тебе рогатым, потому что ты нравился мне только два раза вжизни, тогда, когда бык ударил тебе рогом, потом врое. И еще потом, когда ты убежал отмене из маей камнаты. Остальные разы ты ничего ни стоил. А мне нушен настоящий муцина. Ты не винават, что не гадилися для миня, так што надеюсь гаревать не будишь.

Праццай нафсегда,

Эмма Бурдише

Перед таким категорическим решением, да еще изложенным таким варварским языком, оставалось только преклониться. Да разве не те чувства, которыми руководилась Эмма, написав мне такое письмо, некогда соблазнили меня? Разве я не любил в ней больше всего и прежде всего эту безумную жажду любви, причину ее обольстительности и ее неверности?

У меня не хватило мудрости отложить на завтра принятие решений. Я боялся совершить какую-нибудь непростительную глупость. Поэтому я справился, когда идет первый поезд в Париж, и вызвал человека, который взялся бы отправить багажом мою восьмидесятисильную машину, или, если хотите, Клоц-мобиль.

Вскоре мне сообщили, что этот человек явился, и мы вместе отправились в гараж.

Автомобиль исчез.

Как вы понимаете, я не упустил случая сопоставить два эти исчезновения и обвинить Эмму в некоем гнусном сообщничестве. Но хозяин гостиницы, решив, что тут дело не обошлось без дерзких воришек, отправился в полицейский участок. По возвращении он сказал, что на одной из улочек предместья найден автомобиль № 234-XY, брошенный там, по его мнению, этими прохвостами из-за нехватки масла, которого в резервуаре не осталось ни капли.

«Прекрасно! – подумал я. – Клоц хотел сбежать! Вот только не рассчитал, что не хватит масла, и теперь парализован».

Но истинную версию данного инцидента я оставил при себе, а механику рекомендовал довести автомобиль до вагона при помощи лошадей, не запуская двигатель.

– Пообещайте мне, что так и сделаете, – попросил я, – это крайне важно. Скоро подойдет мой поезд, нужно спешить... Да, и вот еще что: ни в коем случае не заливайте масло!

Глава 16

Волшебник умирает окончательно

И вот я в этом особняке на проспекте Виктора Гюго, снятом для Эммы. И я в нем один, наедине со странными воспоминаниями, потому что Эмма предпочла одарить своей опьяняющей и прибыльной красотой господина Альсида. Не будем больше об этом.

Начало февраля. Позади меня, с пощелкиванием развевающегося на ветру знамени, трещат дрова. Со дня возвращения в Париж, не имея определенных занятий, ничего не читая, я занимаюсь тем, что, сидя у этого круглого столика, с утра до поздней ночи излагаю на бумаге свою необычную историю.

Вот только закончилась ли она?

Клоц-мобиль помещается здесь же во дворе, в специально выстроенном для него гараже. Несмотря на мои распоряжения, механик в Нантеле наполнил резервуары маслом, и нам – моему новому шоферу и мне – стоило невероятных трудов довести до дому этот человекомобиль, так как мы не сумели повернуть ручки кранов резервуаров, чтобы слить масло. Доставленный наконец в сарай автомобиль начал с того, что совершенно разрушил своего соседа, двадцатисильный автомобиль новейшей конструкции... Что я мог поделаться с этим проклятым Клоцем? Продать его? Подвергнуть риску своих ближних? Это было бы преступлением... Уничтожить его, умертвить профессора в его последней трансформации? Это было бы убийством. Я предпочел запереть его. Гараж построен из тяжелых дубовых досок, а дверь тщательно заперта на замок и засовы.

Но новый зверь проводил все ночи, рыча свои угрожающие или скорбные хроматические гаммы, и соседи стали жаловаться. Тогда я заставил отвинтить в своем присутствии преступный клаксон. С невероятным трудом отвинтили винты, гайки и болты, и оказалось при этом, что клаксон как бы припаялся к машине. Нам пришлось оторвать клаксон, отчего вся машина содрогнулась. Из раны брызнула струя желтой жидкости, пахнувшей керосином, и медленно потекла капля за каплей из ампутированных частей. Я вывел из этого факта заключение, что металл под влиянием интенсивной жизни организовался; вот почему мои усилия заменить старую рессору не привели ни к какому результату; эта операция в данном случае превратилась бы в прививку неорганического тела к органическому и сделалась столь же невыполнимой, как прививка деревянного пальца к живой руке.

Лишившись своего голосового аппарата, мой заключенный не успокоился, а в течение недели продолжал страшно шуметь по ночам, бросаясь всей своей массой на запертую дверь. Потом внезапно он затих... С тех пор прошел месяц. Я думаю, что резервуары масла и бензина пусты. Тем не менее я запретил Луи, моему шоферу, проверять их и вообще входить в клетку этого дикого и свирепого зверя.

Теперь у нас царит покой, но Клоц все-таки здесь...

* * *

Философские рассуждения, готовые выйти из-под моего пера, прервал Луи. Он ворвался ко мне и, выпучив глаза, сказал:

– Мсье, мсье! Пойдите взгляните на ваши восемьдесят лошадок!

Я поспешно выбежал из комнаты.

Спускаясь вслед за мной по лестнице, слуга сознался, что решился открыть сарай, потому что с некоторого времени оттуда доносился скверный запах. И действительно, даже во дворе стоял тяжелый, тошнотворный «аромат».

Луи воскликнул, почти восхищенно:

– Мсье и сам чувствует, как тут воняет! – И он провел меня внутрь.

Автомобиль имел столь причудливый вид, что я не сразу его узнал.

Грузно осевший на ослабевшие колеса, он был деформирован, словно сделан из воска и наполовину растаял. Рычаги висели, согнувшись, как резиновые полосы. Потерявшие форму фары выглядели так, точно из них выпустили воздух, а голубоватые стекла были похожи на бельма мертвых глаз. На алюминиевых частях проступили подозрительные пятна, а железо было разъедено местами до дыр.

Стальные части истончились и сделались ноздреватыми, медь стала похожа на губку грибов. Словом, большая часть составных частей автомобиля была покрыта язвами и пятнами, но это не была ни ржавчина, ни окись меди. Эта омерзительная вещь стояла в луже тягучей, отвратительной, пронизанной жилками разных цветов жидкости, вытекавшей из нее самой. Под влиянием каких-то странных химических реакций на поверхность этого разлагающегося металлического тела вырывались пузырьки, а внутри механизма слышалось бульканье, точно кто-то там полоскал себе горло. Вдруг с мягким звуком, точно от падения в жидкую грязь, отвалилось рулевое колесо, разбило платформу и рикошетом – покрышку мотора. Там оказалась какая-то гнусная каша, и вырвавшаяся оттуда вонь заставила меня броситься к выходу из сарая. Но все же я успел заметить в самой глубине тени копошащихся трупных червей...

– До чего же дрянная марка! – заявил механик.

Я попробовал уверить его, что усиленная тряска порой разлагает металл и может быть причиной изменений на молекулярном уровне. Кажется, он не особенно поверил в мои объяснения, а я, зная, что правда еще менее правдоподобна, был вынужден, чтобы принять ее, снова повторить все про себя, придав своим размышлениям словесную форму, благодаря которой вещи легче объяснить, так же как задачу легче усвоить на языке цифр.

Клоц мертв. Автомобиль мертв. И вместе со своим автором уходит в небытие чудесная теория об одухотворенном механизме, обладающем бессмертием благодаря постоянной замене износившихся составных частей новыми и поддающемся бесконечным усовершенствованиям. Вдохнуть жизнь – значит вдохнуть в то же время и смерть, которая неумолимо следует за жизнью; и пытаться превратить неорганические вещества в органические – значит обречь их на более или менее скорое разрушение.

Но мои предположения оказались ошибочными: фантастическое существо погибло не из-за недостатка бензина. Нет – резервуары оставались наполовину полными. Выходит, машину убила ее душа, душа человека, эта душа-соблазнительница, столь стремительно истощавшая более здоровые, чем наши, организмы животных и быстро уничтожившая это металлическое тело, могучее и невинное.

Я приказал выбросить всю эту отвратительную кучу в помойную яму. Могилой Клоца станет свалка. Он мертв! Мертв! Я от него избавился. Он *умер окончательно и бесповоротно*... Наконец-то *умер*! Его дух теперь там же, где и души всех усопших. Он никак не сможет больше мне навредить.

Ха-ха-ха! Старина Отто... Отто-мобиль... МЕРТВ! Мерзкая скотина!

Я должен был бы чувствовать себя счастливым. А между тем этого нет на самом деле. О, не из-за Эммы! Я не отрицаю, что эта особа огорчила меня. Но это горе рассеется; а раз есть сознание, что горе может пройти, оно уже наполовину прошло. Нет, мое несчастье заключается в том, что я не могу отделаться от воспоминаний. Меня преследует все то, что я видел и испытывал: сумасшедший, Нелли, операция, Минотавр, Я-Юпитер и много других ужасных вещей... Я пугаюсь пристального взгляда, направленного на меня, и опускаю глаза при виде замочной скважины... Вот в чем мое несчастье. А кроме того, я страшно боюсь одной ужасной вещи...

Что, если не все еще кончено? Что, если смерть Клоца не послужит развязкой моей истории?

До него мне нет никакого дела, так как он больше не существует; да если бы даже он и появился под личиной Лерна или в виде призрачного автомобиля и стал бы меня дразнить, я понял бы, что это только воображение или галлюцинация моего слабого зрения. Он умер, и я очень мало им интересуюсь, повторяю это.

Меня тревожит мысль о его трех помощниках. Где они находятся? Что они делают? Вот в чем вопрос. Они обладают секретом цирцейской операции и, наверное, пользуются им в корыстных целях, торгуя перемещением личностей... Несмотря на постигшую его неудачу, Клоц-Лерн все же встретил некоторых субъектов, которые согласились подвергнуться его дьявольской операции, чтобы обменяться с другими своими душами. Трое немцев увеличивают с каждым днем количество этих негодяев, жадных до чужих денег, или до чужой молодости, или до чужого здоровья. По свету бродят, не возбуждая ни в ком подозрений, мужчины и женщины, которые вовсе не те, кем кажутся...

Я больше ни во что не верю... Все лица мне представляются масками. Может быть, я мог бы это заметить и раньше, ведь есть люди, в глазах которых светится совсем несвойственная им душа. Некоторые, известные своей честностью и прямотой, вдруг проявляют порочные наклонности, так что начинаешь думать о чуде. Та же ли у них душа сегодня, что была вчера?

Порой глаза моего собеседника вспыхивают странным огнем, в них проносится мысль, ему не принадлежащая. Если он выскажет ее, то тут же от нее отречется и сам же первый удивится, что она вообще могла прийти ему в голову.

Я знаю людей, убеждения которых меняются ежедневно. И это весьма нелогично.

Наконец, мной часто овладевает какая-то могучая воля, чья-то грубая сила сжимает мой мозг, если можно так сказать, и заставляет мои нервы или приказывает моим мышцам совершать поступки, о которых я потом жалею, или произносить слова, которым я не сочувствую.

Я знаю, я прекрасно знаю: всякий человек переживает в своей жизни такие же минуты. Но для меня причины этих явлений сделались смутными и таинственными. Объясняют это приступами лихорадки, взрывом гнева, припадком рассеянности, точно так же как неожиданные выходки, которые я часто подмечал у своих близких, объясняют привычками, лицемерием, расчетом или дипломатией...

Не вернее ли, что все это вызвано таинственным влиянием всемогущего волшебника?

Я согласен, что пережитые мною волнения истощили мой мозг и мне следовало бы лечиться. Меня неудержимо преследуют зловещие воспоминания о моих злоключениях в Фонвале. Вот почему, ясно почувствовав необходимость избавиться от этих воспоминаний, я немедленно по своем возвращении оттуда принялся записывать их; вовсе не с целью издать книгу, а в надежде, что, доверив их бумаге, я избавлю от них свой мозг и что этого будет достаточно, чтобы раз навсегда изгнать воспоминания из моей головы.

Но это не так. Далеко не так. Наоборот, по мере изложения я переживал их еще более реально и теперь не могу понять, что за колдовская сила порой заставляла меня употреблять некоторые слова и выражения помимо моей воли.

Я не добился своей цели. Я должен прибегнуть к другим, новым способам, чтобы заставить себя позабыть этот кошмар и уничтожить в своей памяти даже мелочи, которые могли бы напомнить мне о нем. Скоро многие вещи исчезнут... и будет слишком поздно... Может случиться, что в окрестностях Фонваля родятся несколько слишком разумных быков: надо сейчас же купить Ио, Европу и Атор и приказать их зарезать. Продать Фонваль и все, что там находится. Жить, жить самим собой... продолжать жить глупым, экстравагантным или смешным, все равно, но оригинальным, независимым, не слушаясь ничьих советов и свободным, Господи, свободным от ига воспоминаний!..

Клянусь, эти мерзости в последний раз пробегают у меня в голове. И я записываю все это лишь для того, чтобы запечатлеть как можно торжественнее.

А тебя, вероломная рукопись, которая только увековечила бы существа и события, коим я отныне отказываю в праве на существование, – в огонь! В огонь «Доктора Лерна»! В огонь! В огонь! В огонь!

Май 1906 – май 1907

Синяя угроза

Ибо можно признать, мадам: для птиц и философов земля – только лишь дно неба, и люди уныло бродят там под недоступным для них лазурным океаном, по которому, подобно волнам, проносятся тучи и облака.

Партенопа, или Неожиданная остановка

Пролог

Полгода назад – если быть точным, в понедельник 16 июня 1913 года, в девять утра – в мой кабинет вошла молоденькая горничная, которая находилась тогда у меня в услужении. Так как я только что приступил к увлекательной работе и распорядился меня не беспокоить, с моего языка слетели несколько сердитых слов. Но девушка не обратила на них ни малейшего внимания, направляясь прямо ко мне. Она несла на лаковом подносе визитную карточку, и ее ликующее лицо выражало такой триумф, что, казалось, она подражает тому знаменитому танцу, в котором Саломея катает по серебряному блюду голову Иоанна.

– Да что это с вами? – промолвил я, смягчаясь. – Или на подносе у вас карточка самого Всевышнего? Давайте. Ах! Боже мой! Возможно ли это?.. Просите! Быстро, быстро!

Я прочел имя, должность и адрес знаменитейшего человека среди самых знаменитых, человека 1912 года, человека «Синей угрозы»:

Жан Летелье

директор обсерватории

бульвар Сен-Жермен, 202

В течение нескольких секунд я с восхищением взирал на эту визитную карточку, вызывающую мысль о беспримерной славе и знаниях, несчастьях и смелости, затем мой взгляд устремился на дверь. В течение ужасного 1912 года газеты очень часто воспроизводили черты господина Летелье, и я заранее представлял, как на пороге комнаты появится мужчина в самом расцвете сил, высокий и статный, с приветливой улыбкой и большими светлыми глазами под широким и чистым лбом, поглаживающий опрятную темную бороду. Однако же тот, кто внешне возник в дверном проеме, походил на мое видение как старик на себя в далекой юности.

Я устремился ему навстречу. Он попытался улыбнуться и выдавил гримасу. Он шел сгорбившись, неуверенной поступью и с трудом поддерживал объемистый портфель. Увы! Он так исхудал, что черный сюртук свободно болтался на покатых плечах. Красный бант, служивший украшением его наряду, соседствовал с седой бородой; веки его оставались робко опущенными. Все эмоции, все страдания, все ужасы 1912 года читались на этом мертвенно-бледном челе, изборожденном глубокими морщинами.

Мы обменялись обязательными в таких случаях любезностями, после чего господин Летелье изволил присесть, поставил пухлый портфель себе на колени, а затем сказал мне, барабанив пальцами по столу:

– Мсье, здесь работа, которую я вам принес.

– Неужели? – промолвил я вежливым тоном. – И... какого рода, мсье?

Он поднял глаза, и наши взгляды встретились. Ах! Его глаза не изменились. Именно такие я и надеялся увидеть: большие глаза, приводящие в смущение, привыкшие лицезреть солнца и луны, а теперь смотревшие на меня...

Астроном ответил:

– Здесь все документы, необходимые для написания истории о том, что называют более или менее справедливо «Ужасами тысяча девятьсот двенадцатого года».

– Как! – вскричал я, вне себя от изумления. – Вы хотите, чтобы...

– ... Чтобы именно вы сделали эту работу.

– Вы оказываете мне большую честь... Но... мсье, вы хорошо подумали?... Это ведь... огромный труд! Вряд ли мне это по силам...

– Все, о чем я вас прошу, мсье, – это написать историю одной семьи во время ужасов тысяча девятьсот двенадцатого года; историю моей семьи!

При этих словах, которые пробудили воспоминания о тех сверхчеловеческих бедствиях и помогли осознать, сколь грандиозная миссия мне уготована, я в порыве восторга вскочил на ноги:

– Как, мсье! Вы готовы поведать публике... в подробностях... интимные... мучительные перипетии...

– Так нужно, – степенно промолвил господин Летелье, – потому что это единственный способ сообщить всему миру о том, что произошло год назад, и потому что этот урок должен быть усвоен.

– Скорее, мсье, – воскликнул я, – покажите мне документы! Я сгораю от нетерпения приступить к работе...

Бумаги уже высились на моем столе.

Среди этих стопок оказались самые разные документы: письма, газеты, чертежи, записи, протоколы, обзоры, свидетельства, фотографии, телеграммы и т. п., тщательно распределенные по датам и пронумерованные от 1 до 1046.

Господин Летелье пролистал эту хронику, просмотрел бумаги одну за другой, и мне вспомнился фантом тех мрачных дней.

Своей сверхъестественностью и ужасом те события превосходили все, что я только мог вкладывать в понятие «кризис». Любитель необычного, повествующий о чудесах, я знал и описывал самые странные судьбы. Я встречался с физиком Буванкуром, который проник в мир зеркальных отражений. Одним из моих старых товарищей был господин Гамбертен, съеденный в наши дни, посреди Оверни, неким допотопным чудовищем. Я интересовался завещанием этого бедняги Х., на свидание к которому явился труп его возлюбленной. Я был знаком с доктором Лерном, который пересаживал мозги одних своих клиентов или жертв другим, изменяя тем самым их личность. Инженер З. сподобился показать мне, как можно объехать весь мир, не сходя с места. Я находился рядом с Нервалем, композитором, когда тот умер, услышав голоса сирен, доносившиеся из морской раковины. Я располагаю воспоминаниями Флешамбо, несчастного, который жил среди микробов... Словом, в моих реестрах содержится немало диковин. Но искренно заявляю: все это пустяки по сравнению с теми событиями, которые продолжал перечислять господин Летелье, листая худыми пальцами архивы «Синей угрозы».

Должен сказать, что излагал он свою историю крайне интересно, поскольку сам был очевидцем всех событий. Иногда он даже содрогался (вероятно, вспоминая пережитые ужасы) при виде тех страниц, которые были исписаны его собственным нетвердым почерком по окончании очередного происшествия, еще свежего в памяти, или во время постигших его испытаний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.